

АНДРЕ
ЖИД

✦
Тесные врата
Изабель
Пасторальная симфония



✦ ЗАРУБЕЖНАЯ КЛАССИКА ✦

Зарубежная классика (АСТ)

Андре Жид

**Тесные врата. Изабель.
Пасторальная симфония**

«Издательство АСТ»

1909, 1911, 1919

УДК 821.133.1-31
ББК 84(4Фра)-44

Жид А.

Тесные врата. Изабель. Пасторальная симфония / А. Жид — «Издательство АСТ», 1909, 1911, 1919 — (Зарубежная классика (АСТ))

ISBN 978-5-04-203736-8

В сборник вошли три произведения Андре Жида, объединенные темой морального выбора и внутреннего конфликта личности, которые позволят читателю лучше понять талант одного из главных знатоков человеческой души французской литературы. «Тесные врата» – во многом автобиографическая повесть, в которой рассказывается история Жерома и Алисы – кузенов, влюбленных друг в друга, но вынужденных отказаться от своих чувств в пользу нравственности и благодетели. «Изабель» – повесть не столько о любви, сколько о пробуждении зрелости, в которой любовная история становится темой для авторских размышлений. Иллюзии Жерара о том, что поездка в поместье известного ученого сулит ему романтическое приключение, разбиаются о суровую реальность, когда тот становится свидетелем драмы, развернувшейся в семье Флош. «Пасторальная симфония» – история о запретной любви между пастором и слепой сиротой, которую он берет на воспитание и спасает от нищеты, обернувшаяся трагедией, когда сострадание превращается в страсть, а благочестие – в самообман.

УДК 821.133.1-31

ББК 84(4Фра)-44

ISBN 978-5-04-203736-8

© Жид А., 1909, 1911, 1919

© Издательство АСТ, 1909, 1911, 1919

Содержание

Тесные врата	7
I	7
II	14
III	24
IV	29
V	36
Конец ознакомительного фрагмента.	43

Андре Жид
Тесные врата
Изабель
Пасторальная симфония

© Перевод. Я. Богданов. 2025

© ООО «Издательство АСТ», 2026

Тесные врата

*Подвизайтесь войти сквозь тесные врата.
Лука, 13:24*

I

Той истории, которую я собираюсь рассказать, иному достало бы на целую книгу; мои же силы все ушли на то, чтобы прожить ее, и теперь я опустошен совершенно. Так что я лишь бесхитростно запишу свои воспоминания, и, если местами в них будут прорехи, я не стану латать их или заделывать, присочиняя то, чего не было; усилия, необходимые для такой отделки, лишили бы меня последней отрады, какую, надеюсь, принесет мне повествование.

Мне не было еще и двенадцати лет, когда я потерял отца. Моя мать, которую ничто более не удерживало в Гавре, где отец как врач имел практику, решила перебраться в Париж в надежде, что там я лучше закончу свое образование. Она сняла поблизости от Люксембургского сада небольшую квартиру. В ней вместе с нами поселилась и мисс Флора Эшбертон, у которой не осталось никакой родни и которая, будучи поначалу домашней воспитательницей моей матери, стала впоследствии ее ближайшей подругой. Я рос в окружении этих двух женщин, всегда одинаково нежных и печальных и никогда не снимавших траура. Как-то раз, уже, наверное, порядочно времени спустя после смерти отца, моя мать вышла утром в чепце, перевязанном не черной лентой, а сиреневой.

– Мамочка! – воскликнул я. – Как не идет тебе этот цвет!

На следующий день на ней вновь была черная лента.

Здоровьем я не отличался, и если, несмотря на вечные заботы и хлопоты матери и мисс Эшбертон, как уберечь меня от переутомления, я все же не сделался лентяем, то исключительно благодаря какому-то врожденному трудолюбию. Едва наступали первые погожие дни, обе женщины немедленно находили, что я очень бледный и меня как можно скорее надо увозить из города; к середине июня мы переезжали в Фонгезмар, в окрестностях Гавра, где жили все лето в доме моего дяди Бюколена.

Окруженный, как это принято в Нормандии, садом, вполне заурядным, не слишком большим и не особенно красивым, белый двухэтажный дом Бюколенов похож на множество других сельских домов постройки XVIII века. Два десятка окон смотрят на восток, в сад; столько же – на противоположную сторону; по бокам окон нет. Рамы состоят из довольно мелких квадратиков: в тех из них, что недавно заменены, стекла кажутся гораздо светлее старых, которые сразу точно потускнели и позеленели. К тому же в некоторых есть еще и так называемые «пузыри»; взглянешь сквозь такой на дерево – оно все искривится, взглянешь на проходящего мимо почтальона – у него вдруг вырастает горб.

Сад имеет форму прямоугольника и окружен стеной. Через него к дому, огибая просторную затененную лужайку, ведет дорожка из песка и гравия. Стена здесь не такая высокая, и за ней виден хозяйственный двор, который со стороны дома прикрыт садом, а снаружи, как принято в здешних местах, обрамлен двумя рядами буковых деревьев.

Позади усадьбы, с западной стороны, сад разрастается свободнее. По нему вдоль шпалер, обращенных на юг и обвитых яркими цветами, проходит аллея, укрытая от морских ветров несколькими деревьями и стеной густого кустарника, португальского лавра. Другая аллея, идущая вдоль северной стены, теряется в гуще ветвей. Мои кухни всегда называли ее «темной аллеей» и с наступлением сумерек не отваживались заходить в нее слишком глубоко. Обе эти

аллеи в конце несколькими уступами спускаются к огороду, который как бы продолжает сад. Отсюда через маленькую потайную дверь в стене попадаешь в молодой лесок, где смыкаются подходящие справа и слева двойные ряды буковых деревьев. Если взглянуть с заднего крыльца дома, то за леском открывается чудесный вид на широкое поле со жнивьем. А еще чуть дальше, на горизонте, – деревенская церквушка да вечером, когда все затихает, кое-где струйки дыма над крышами.

Погожими летними вечерами мы спускались в «нижний сад», выходили через потайную дверку и шли к скамейке под буками, откуда тоже было видно довольно далеко; там, возле соломенного навеса, оставшегося от брошенной мергельной разработки, дядя, мать и мисс Эшбертон усаживались; неширокая долина перед нами наполнялась туманом, а вдали над лесом золотело небо. Обратились не спеша, темным уже садом. Возвратившись в дом, мы встречались в гостиной с тетей, которая почти никогда не принимала участия в наших прогулках... На этом для нас, детей, вечер заканчивался; однако очень часто мы допоздна читали в своих комнатах, пока не слышались шаги взрослых, поднимающихся по лестнице.

Кроме сада, местом, где мы проводили большую часть времени, была «классная» – дядин кабинет, куда поставили несколько школьных парт. Я сидел за одной партой с кузенком Робером, сзади нас садились Жюльетта и Алиса. Алиса была на два года старше, а Жюльетта на год моложе меня. Робер из нас четверых был самым младшим.

Писать воспоминания о своем детстве я не намерен и расскажу лишь о том, что имеет отношение к этой истории. А началась она, могу сказать совершенно определенно, в год смерти отца. Горе, постигшее нас, и глубокая печаль матери, даже в большей степени, нежели моя собственная, обострили мою природную чувствительность и, вероятно, предрасположили меня к новым переживаниям: я возмужал прежде времени; поэтому, когда тем летом мы вновь приехали в Фонгезмар, Жюльетта и Робер показались мне совсем еще маленькими, однако, увидев Алису, я внезапно понял, что и она, так же как и я, перестала быть ребенком.

Да, это было именно в год смерти отца; я не могу ошибиться, потому что хорошо помню один разговор матери и мисс Эшбертон, сразу после нашего приезда. Они оживленно беседовали, когда я внезапно вошел в комнату; речь шла о моей тете: моя мать была возмущена тем, что она то ли вовсе не носила траура, то ли слишком рано сняла его. (По правде сказать, мне одинаково невозможно вообразить как тетю Бюколен в черном, так и мою мать в светлом платье.) В день нашего приезда, сколько мне помнится, на Люсиль Бюколен было платье из муслина. Мисс Эшбертон, которая всегда стремилась ко всеобщему согласию, пытаясь успокоить мою мать, осторожно заметила:

– Но ведь белый цвет тоже может быть знаком скорби...

– Это пунцовая-то шаль у нее на плечах – «знак скорби»? Да как вы могли сказать мне такое, Флора!

Я видел тетю только в летние месяцы, во время каникул, и вполне понятно, что из-за постоянной жары она и носила все эти очень открытые легкие платья; как раз глубокие вырезы и раздражали мою мать, даже гораздо больше, чем разные яркие накидки на тетиных обнаженных плечах.

Люсиль Бюколен была очень красива. На сохранившемся у меня маленьком портрете она изображена такой, какой была в ту пору, и лицо ее настолько юно, что ее можно принять за старшую сестру ее собственных дочерей, рядом с которыми она сидит в обычной своей позе: голова слегка опирается на левую руку, мизинец которой жеманно отогнут и касается губ. Густые, слегка волнистые волосы подвернуты и схвачены на затылке крупной сеткой; в полукруглом вырезе корсажа – медальон из итальянской мозаики на свободной черной бархатке. Поясок, тоже из черного бархата, завязанный большим бантом, широкополая шляпа из тонкой соломки, которую она повесила за ленту на спинку стула, – все это еще больше делает ее похожей на девочку. В правой руке, опущенной вдоль тела, она держит закрытую книгу.

Люсиль Бюколен была креолкой; своих родителей она не знала совсем или потеряла очень рано. Позднее я узнал от матери, что родители то ли бросили ее, то ли умерли, и ее взяли к себе пастор Вотье с женой, у которых детей не было и которые вскоре после того вместе с девочкой уехали с Мартиники и поселились в Гавре, где уже жила семья Бюколен. Вотье и Бюколены сблизились; дядя мой был в ту пору за границей, служащим в каком-то банке, и лишь спустя три года, вернувшись домой, впервые увидел маленькую Люсиль; он влюбился в нее и немедленно попросил руки, к великому огорчению своих родителей и моей матери. Люсиль было тогда шестнадцать лет, и к тому времени г-жа Вотье родила уже двоих детей; она начинала опасаться влияния на них приемной дочери, чей характер день ото дня все более удивлял их своей необычностью; кроме того, достатком семейство не отличалось... В общем, моя мать назвала мне достаточно причин, по которым Вотье с радостью восприняли предложение ее брата. Я склонен думать, ко всему прочему, что юная Люсиль грозила поставить их в ужасно неудобное положение. Я достаточно хорошо знаю гаврское общество и без труда могу себе представить, как там принимали эту прелестную девочку. Пастор Вотье, которого я узнал впоследствии как человека мягкого, осторожного и вместе наивного, бессильного перед интригами и совершенно безоружного против сил зла, – тогда эта благородная душа, видимо, была затравлена совершенно. О г-же Вотье не могу сказать ничего; она умерла в родах, на четвертом ребенке, и тот мальчик, почти одних со мною лет, позднее стал моим другом...

Люсиль Бюколен почти не участвовала в общей нашей жизни; она спускалась из своей комнаты после полудня, когда все уже выходило из-за стола, тотчас же устраивалась где-нибудь на софе или в гамаке, лежала так до самого вечера, после чего поднималась в полном изнеможении. Бывало, несмотря на то что лоб у нее был абсолютно сухой, она прикладывала к нему платок, точно при испарине; платочек этот поражал меня своей необычайной тонкостью и запахом – каким-то не цветочным, а скорее даже фруктовым; иногда она брала в руки крошечное зеркальце со сдвигающейся серебряной крышечкой, висевшее у нее на поясе вместе с другими такими же вещицами на цепочке для часов; она долго разглядывала себя, потом, слегка послунявив кончик пальца, что-то вытирала им в уголках глаз. Очень часто она держала книгу, хотя почти никогда ее не открывала; книга была заложена черепаховой закладкой. Когда вы подходили к ней, она вас не замечала, оставаясь погруженной в свои грезы. Нередко, по усталости или рассеянности, из ее рук, или с подлокотника софы, или из складок юбки что-то падало на пол – платочек ли, книга, какой-нибудь цветок или ленточка. Однажды – это тоже воспоминание из детства – я поднял книгу и, увидев, что это стихи, густо покраснел.

По вечерам Люсиль Бюколен также не подходила к общему семейному столу, а садилась после ужина за фортепьяно и, словно любуясь собой, играла медленные мазурки Шопена; иногда, сбиваясь с такта, она вдруг застывала на каком-нибудь аккорде...

Рядом с тетей я испытывал какое-то тревожное волнение, в котором были и растерянность, и смутное восхищение, и трепет. Быть может, неведомый инстинкт предупреждал меня об опасности, исходившей от нее; вдобавок я чувствовал, что она презирает Флору Эшбертон и мою мать и что мисс Эшбертон боится ее, а мать относится к ней неприязненно.

Я бы очень хотел простить вас, Люсиль Бюколен, забыть хоть ненадолго о том, сколько зла вы сделали... постараюсь по крайней мере говорить о вас без раздражения.

Как-то раз тем же летом – а может быть, и следующим, ведь обстановка почти не менялась, и некоторые события в моей памяти могли смешаться – я забежал в гостиную за книгой, там уже сидела она. Я было собрался уйти, как вдруг она, обычно будто и не замечавшая меня, произнесла:

– Почему ты так быстро уходишь, Жером? Ты меня испугался?

С бьющимся сердцем я подошел к ней, заставил себя улыбнуться и протянуть ей руку, которую она уже не отпускала, а свободной ладонью гладила меня по щеке.

– Бедный мальчик мой, как дурно одевает тебя твоя мать!..

На мне была тогда плотная блуза, типа матроски, с большим воротником, который тетя принялась собирать с обеих сторон.

– Отложной воротник так не носят, его весь нужно расстегнуть! – сказала она, отрывая верхнюю пуговицу. – Ну вот, взгляни-ка на себя теперь! – И, достав зеркальце, она почти прижала меня к себе, ее обнаженная рука обвила мою шею, скользнула за полурасстегнутый ворот и после насмешливого вопроса, не боюсь ли я щекотки, стала опускаться все глубже и глубже... Я вскочил так стремительно, что моя блуза треснула по шву; с пылающим лицом я бросился вон из комнаты, услышав вдогонку: «Фу, какой глупый!» Я убежал в самый дальний конец сада, и там, смочив платок в бочке с дождевой водой, прикладывая его ко лбу, тер им щеки, шею – все, чего коснулась рука этой женщины.

Бывали дни, когда с Люсиль Бюколен случались «приступы». Это начиналось внезапно, и в доме все сразу шло кувырком. Мисс Эшбертон торопилась куда-нибудь увести или чем-то занять детей; но ничто не могло заглушить ужасных криков, доносившихся из спальни или из гостиной. Дядя в смятении носился по коридорам, разыскивая то салфетки, то одеколон, то эфир; вечером, выходя к столу без тети, он выглядел очень озабоченным и постаревшим.

Когда приступы уже почти проходили, Люсиль Бюколен звала к себе детей, то есть Робера и Жюльетту; Алису – никогда. В эти печальные дни Алиса почти не покидала своей комнаты, где ее изредка навещал отец; он вообще любил беседовать с ней.

Тетины приступы производили сильное впечатление на прислугу. Однажды приступ был каким-то особенно тяжелым, и я весь вечер провел вместе с матерью в ее спальне, где было меньше слышно то, что происходило в гостиной; вдруг из коридора донесся звук торопливых шагов и крик нашей кухарки:

– Хозяин, хозяин, спускайтесь скорее! Хозяйка, бедная, помирает!

Дядя как раз был в комнате у Алисы; моя мать пошла вместе с ним. Примерно через четверть часа они проходили мимо открытых окон комнаты, где сидел я, но они об этом забыли, и я услышал, как моя мать говорила:

– Позволь, я скажу тебе, мой друг; это всего лишь комедия. – И она повторила несколько раз по слогам: – Ко-ме-дия.

Это произошло ближе к концу каникул, два года спустя после нашего траура. Увидеть тетю в следующий раз мне предстояло уже очень нескоро. Однако, прежде чем пойдет речь о событии, перевернувшем окончательно жизнь нашей семьи, а также о небольшом происшествии, которое еще накануне основной развязки превратило в настоящую ненависть то сложное и до поры смутное чувство, что я испытывал к Люсиль Бюколен, – самое время рассказать вам о моей кузине.

Была ли Алиса Бюколен хороша, о том я еще не мог тогда судить; меня неизменно влекло к ней и удерживало подле нее какое-то особое очарование, а не просто красота. Конечно, она была очень похожа на мать; однако выражение глаз ее было настолько отличным, что самое сходство между ними я заметил лишь много позднее. Описывать лица я не умею, от меня ускользают не только черты, но даже цвет глаз; я хорошо помню только ее улыбку, уже тогда немного грустную, да изгиб бровей, необычно высоко поднятых, обрамлявших глаза большими полукружьями. Таких я не видел более ни у кого... Впрочем, нет: у одной флорентийской статуэтки дантовских времен; мне и юная Беатриче представляется с такими же большими дугами бровей. Глазам Алисы, всему ее существу они придавали постоянно вопросительное выражение, в котором были и вера, и тревога, – да, именно пылко-вопрошающее выражение.

В ней все без исключения было вопрос и ожидание... Я расскажу вам, как этот вопрос овладел и мною, как выстроил он мою жизнь.

Жюльетта могла бы показаться даже более красивой; все в ней дышало веселостью и здоровьем, однако красота ее рядом с грацией ее сестры была как бы вся на поверхности, любому она являлась сразу и целиком. Что же касается моего кузена Робера, то в нем не было ничего примечательного. Просто он был почти мой ровесник, я играл с Жюльеттой и с ним; а с Алисой я разговаривал; она никогда не участвовала в наших играх; даже в самых ранних своих воспоминаниях я вижу ее неизменно серьезной, сдержанной, с мягкой улыбкой. О чем мы разговаривали? Да о чем могут говорить между собой двое детей? Вскоре я вернусь и к этому, но прежде, чтобы дольше не задерживаться на моей тете, я dokonчу рассказ о ней и о том, что с ней связано.

Спустя два года после смерти отца мы с матерью приехали в Гавр на пасхальные каникулы. Остановились мы не у Бюколенов, которые в городе жили и без того достаточно стесненно, а у сестры моей матери, чей дом был попросторнее. Моя тетя Плантье, которую до этого я видел всего несколько раз, овдовела уже много лет назад; детей ее, которые были гораздо старше меня и совершенно иные по душевному складу, я тоже почти не знал. «Дом Плантье», как его окрестили в Гавре, стоял особняком, за чертой города, на склоне довольно высокого холма, который все здесь называют «Косогором». Бюколены же жили неподалеку от деловых кварталов; путь от одного дома к другому можно было сократить по крутой тропинке, и я по несколько раз на дню то сбегал по ней вниз, то карабкался вверх.

В тот день я обедал у дяди. Вскоре после еды он собрался уходить; я проводил его до самой конторы, а затем поднялся в дом Плантье, чтобы найти мать. Там я узнал, что она ушла вместе с тетей и вернется только к ужину. Я тут же вновь спустился в город, где мне очень редко удавалось спокойно побродить одному. Я пошел к порту, который из-за тумана выглядел очень мрачно, и часа два прогуливался по набережным и причалам. Неожиданно у меня появилось желание вновь без предупреждения зайти к Алисе, с которой я, впрочем, расстался совсем недавно... Я побежал по улицам, позвонил в дверь Бюколенов и уже было бросился вверх по лестнице, как вдруг открывшая мне служанка стала меня удерживать:

– Не поднимайтесь, господин Жером, подождите! С хозяйкой нашей опять приступ!

Я, однако, не послушался, сказав, что иду не к тете. Комната Алисы была на четвертом этаже; на втором располагались гостиная и столовая, а на третьем тетина спальня, откуда сейчас слышались голоса. Дверь, мимо которой мне нужно было пройти, оказалась открытой; из комнаты выбивался свет и пересекал лестничную площадку. Чтобы меня не заметили, я задержался в тени да так и застыл в изумлении при виде следующей сцены: окна зашторены, в двух канделябрах весело горят свечи, а посреди комнаты в шезлонге полулежит моя тетя; у ее ног сидят Робер и Жюльетта, а за спиной – неизвестный молодой человек в офицерском мундире. Сегодня сам факт присутствия там детей кажется мне чудовищным, но в моем тогдашнем неведении он меня даже несколько успокоил.

Все смеются, глядя на этого неизвестного, который щебечет:

– Бюколен! Бюколен!.. Вот был бы у меня барашек, я непременно так и назвал бы его – Бюколен!

Тетя заливается смехом. Я вижу, как она протягивает молодому человеку сигарету, которую тот зажигает, и она делает несколько затяжек. Тут сигарета падает на пол, он бросается, чтобы поднять ее, нарочно спотыкается и оказывается на коленях перед тетей... Благодаря этой суматохе я проскальзываю вверх незамеченным.

Наконец я перед дверью Алисы. Жду еще немного. Снизу по-прежнему слышны громкие голоса и смех; видимо, они заглушают мой стук, поэтому я не знаю, был ли ответ. Толкаю дверь, она бесшумно отворяется. В комнате уже так темно, что я не сразу различаю, где Алиса;

она стоит на коленях у изголовья постели, спиной к перекрестью окна, в котором день почти совсем угас. Не поднимаясь с колен, она оборачивается на мои шаги, шепчет:

– Ах, Жером, зачем ты вернулся?

Я наклоняюсь, чтобы обнять ее; лицо ее все в слезах...

В эти мгновения решила моя жизнь; я и сегодня не могу вспоминать о них без душевного волнения. Разумеется, я лишь приблизительно догадывался о причине страданий Алисы, но всем сердцем чувствовал, что муки эти невыносимы для ее неокрепшей трепетной души, для ее хрупкого тела, которое все сотрясалось в рыданиях.

Я все стоял рядом с ней, а она так и не поднималась с колен; я не способен был выразить тех новых чувств, что владели мною, и изливал душу в том, что прижимал к своей груди ее голову и целовал ее лоб. Опьяненный любовью, жалостью, непонятной смесью восторга, самоотречения и мужественной добродетели, я всеми силами души взывал к Богу и был готов посвятить себя без остатка единственно тому, чтобы это дитя не знало страха, зла и даже самой жизни. В каком-то благоговении я тоже опустился на колени, обнял ее еще крепче и услышал, как она прошептала:

– Жером, ведь они не заметили тебя, правда? Уходи скорее, прошу тебя! Пусть они не знают, что ты был здесь.

Потом совсем едва слышно:

– Жером, не говори никому... папа ведь ни о чем не знает...

Матери я ничего не сказал; однако бесконечные ее шушуканья с моей тетей Плантье, таинственный, озабоченный и удрученный вид обеих женщин, непременно «ступай, сынок, поиграй» каждый раз, когда я оказывался рядом и мог услышать, о чем они шепчутся, – по всему было видно, что происходившее в доме Бюколенов не являлось для них тайной.

Не успели мы вернуться в Париж, как мать снова вызвали в Гавр: тетя убежала из дому.

– Одна или с кем-то? – спросил я у мисс Эшбертон, когда мать уже уехала.

– Мальчик мой, спроси об этом у своей матери; я не могу тебе ничего ответить, – сказала она, и я видел, как случившееся огорчило ее, давнего друга нашей семьи.

Два дня спустя мы с ней выехали вслед за матерью. Это было в субботу. На следующий день я должен был встретиться со своими кузинами в церкви, и мысль об этом только и занимала меня все время, так как в своих тогдашних детских рассуждениях я придавал большое значение тому, что наше свидание будет как бы освящено. До тети мне, в сущности, и дела не было, а потому я дал себе слово ни о чем не расспрашивать мать.

В маленькой часовне народу в то утро было немного. Пастор Вотье, скорее всего, не без умысла выбрал темой проповеди слова Христа: *«Подвизайтесь войти сквозь тесные врата»*.

Алиса сидела несколькими рядами впереди меня. Я видел ее профиль и смотрел на нее так пристально и неотрывно, забыв обо всем на свете, что даже голос пастора, в который я жадно вслушивался, казалось, доходил до меня через нее.

Дядя сидел рядом с моей матерью и плакал.

Пастор прочитал сначала весь стих полностью: *«Входите тесными вратами; потому что широки врата и пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими; потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их»*. Затем, обратив внимание на заложенное в стихе противопоставление, он заговорил прежде о «пространном пути»... Точно в полуобмороке или во сне, я как будто вновь увидел ту сцену в тетиной спальне: тетя полулежит в шезлонге и смеется, рядом – тот блестящий офицер, и тоже смеется... сама мысль о смехе, о веселье вдруг сделалась для меня неприятной, оскорбительной, предстала едва ли не крайним выражением греховности!..

«...*И многие идут ими*», – повторил пастор Вотье; он приступил к описанию, и я увидел толпу прекрасно одетых людей, которые, смеясь и дурачась, шли и шли друг за другом, и я чувствовал, что не могу, не желаю присоединиться к ним, поскольку каждый шаг, сделанный вместе с ними, отдалял бы меня от Алисы.

Пастор вернулся к начальным строкам, и теперь я увидел тесные врата, которыми следовало входить. В моем тогдашнем состоянии они пригрезились мне отчасти похожими на машину для прокатывания стальных листов, я протискивался туда, напрягая все силы и чувствуя страшную боль, к которой, однако, добавлялся привкус неземного блаженства. Одновременно эти врата были и дверью в комнату Алисы, и, чтобы войти в нее, я весь сжимался, выдавливая из себя остатки эгоизма... «*Потому что узок путь, ведущий в жизнь*», – продолжал пастор Вотье, и вот уже печаль и умерщвление плоти оборачивались для меня предчувствием какой-то еще неведомой радости – чистой, мистической, ангельской, – той самой, какой жаждала моя душа. Она, эта радость, являлась мне, словно пение скрипки – пронзительное и вместе нежное, – словно напряженное пламя свечи, в котором стгорали наши с Алисой сердца. Облаченные в белые одежды, о которых говорит Апокалипсис, мы шли вперед, взявшись за руки и не сводя глаз с цели нашего пути... Эти детские грезы могут вызвать улыбку – пускай! Я ничего не изменял в них. А некоторая несвязность возникает оттого, что слова и образы лишь весьма приблизительно способны передать чувства людей.

«...*И немногие находят их*», – заканчивал пастор Вотье, объясняя, как отыскать эти узкие врата... Я бы хотел стать одним из них...

К концу проповеди напряжение во мне достигло такой степени, что, едва все кончилось, я стремительно вышел, так и не увидевшись с Алисой: из гордыни я вознамерился немедленно подвергнуть испытанию свое решение (а я его уже принял), заключив, что стану более достойным ее, если сейчас с ней расстанусь.

II

Эти суровые наставления нашли благодатную почву в душе, изначально готовой к служению долгу и – под воздействием примера отца и матери, в сочетании с пуританской дисциплиной, коей они подчинили первые порывы моего сердца, – почти совершившей окончательный выбор, который я мог бы выразить в одном слове – добродетель. Для меня было так же естественно смирять себя, как для иных ни в чем себе не отказывать, причем строгость, к которой меня приучали, ничуть не отвергалась, а, напротив, льстила моему самолюбию. Грядущее в моем представлении сулило не столько счастье, сколько вечное и напряженное стремление к нему, так что я уже едва ли видел различие между счастьем и добродетелью. Разумеется, как всякий подросток в четырнадцать лет, я еще не вполне определился и сохранял свободу выбора, но очень скоро любовь к Алисе решительно увлекла меня в том направлении. Благодаря этой внезапной вспышке, словно высветившей меня изнутри, я осознал сам себя: оказалось, что я замкнутый, со слабо выявленными способностями, весь в ожидании чего-то, довольно безразличный к окружающим, скорее вялый, нежели предприимчивый, и не мечтающий ни о каких победах, кроме как над самим собой. Учиться я любил; из всех игр более всего меня увлекали те, что требовали сосредоточенности или усилий ума. У меня почти не было приятелей среди однокашников, а в их затеях я участвовал лишь из вежливости или за компанию. Впрочем, я сошелся достаточно близко с Абелем Вотье, который год спустя переехал в Париж и стал учиться в одном классе со мной. Это был приятный, несколько апатичный мальчик, к которому я испытывал скорее нежность, чем уважение, но с ним по крайней мере я мог поговорить о Гавре и Фонгезмаре, куда постоянно улетала моя мысль.

Моего кузена Робера Бюколена отдали в тот же лицей, что и нас, правда, двумя классами младше, так что встречался я с ним только по воскресеньям. Не будь он братом моих кузин, на которых, кстати, он почти ничем не походил, мне и вовсе не доставляло бы удовольствия видеть его.

Я был тогда весь поглощен своей любовью, и только потому, что ее ответ падал на мои дружеские отношения с Абелем и Робером, они еще что-то значили для меня. Алиса напоминала бесценную жемчужину, о которой говорится в Евангелии, а я – того человека, который распродает все, что имеет, лишь бы завладеть ею. Пусть я был еще ребенком, но разве я не прав, называя любовью чувство, которое я испытывал к моей кузине? Оно достойно этого имени гораздо более, нежели все то, что я познал в дальнейшей моей жизни, – впрочем, и тогда, когда я вступил в возраст, которому присуще уже вполне определенное томление плоти, чувство мое не слишком изменилось по своей природе: я по-прежнему не искал более прямых путей к овладению той, добиваться чьего расположения в раннем отрочестве почитал за великую честь. Все свои каждодневные занятия, усилия, богоугодные поступки я мистически посвящал Алисе, доводя свою добродетель до особой утонченности, когда, как нередко бывало, даже оставлял ее в полном неведении относительно того, что свершалось мною лишь ради нее. Все чаще упивался я подобного рода опьяняющей простотой и скромностью и привыкал – увы, не доискиваясь корней этого моего пристрастия – находить удовольствие исключительно в том, что доставалось мне ценой определенных усилий.

Вполне возможно, что этим соревнованием был воодушевлен лишь я один. Не похоже, чтобы Алиса хоть в малой степени заинтересовалась им и сделала хоть что-нибудь из-за меня или для меня, я же только ради нее и усердствовал. Душа ее не ведала никаких ухищрений и была прекрасна в своей полнейшей естественности. В ее добродетели было столько легкости и грациозности, что она, казалось, ничего ей не стоила. Ее серьезный взгляд очаровывал благодаря тому, что сочетался с детской улыбкой; я вспоминаю сейчас этот взгляд, в котором читался такой мягкий, такой нежный вопрос, и понимаю, почему мой дядя тогда, весь в смя-

тении и растерянности, именно у своей старшей дочери искал поддержки, совета и утешения. Тем летом я очень часто видел их вдвоем. Горе сильно состарило его; за столом он почти не разговаривал, а если вдруг оживлялся, то видеть эту наигранную радость было еще тяжелее, чем сносить молчание. Он закрывался в кабинете и курил там до самого вечера, пока к нему не заходила Алиса; ей приходилось долго упрашивать его выйти на воздух; она гуляла с ним по саду, словно с ребенком. Спустившись по цветущей аллее, они усаживались неподалеку от ступенек, ведущих к огороду, на принесенные нами из дома стулья.

Однажды вечером я допоздна зачитался, лежа прямо на газоне, в тени огромного пурпурного бука, отделенный от цветочной аллеи только живой изгородью из лаврового кустарника, из-за которой внезапно послышались голоса моего дяди и Алисы. Как я понял, разговор шел о Робере; Алиса упомянула мое имя, и, поскольку уже можно было различить слова, я услышал, как дядя громко произнес:

– Ну, он-то всегда будет трудолюбив!

Невольно оказавшись в роли подслушивающего, я хотел было уйти или по крайней мере как-то обнаружить свое присутствие, но как? Кашлянуть? Или крикнуть – мол, я здесь и все слышу? Я промолчал, причем больше от смущения и застенчивости, чем из желания узнать, о чем они будут говорить дальше. К тому же они всего лишь проходили мимо, да и я мог разоб- рать далеко не все... Шли они медленно; наверняка Алиса по своей привычке несла легкую корзинку, по дороге обрывая увядшие цветы и подбирая опавшую после частых морских туманов завязь. Я услышал ее высокий чистый голос:

– Папа, ведь правда же, дядя Палисье был замечательным человеком?

Ответ дяди прозвучал приглушенно и неясно; я не разобрал слов. Алиса спросила настой- чиво:

– Ну скажи, очень замечательным?

Ответ такой же невнятный; затем снова голос Алисы:

– А правда Жером умный?

Как же я мог удержаться и не прислушаться?.. Но нет, по-прежнему неразборчиво. Вновь она:

– Как ты думаешь, он может стать замечательным человеком?

Тут голос дяди наконец-то сделался погромче:

– Доченька, прежде я бы все-таки хотел узнать, кого ты называешь замечательным. Ведь можно быть замечательнейшим человеком, и это никому не будет заметно, я имею в виду глаза людские... замечательнейшим в глазах Божьих.

– Я именно так и понимаю это слово, – сказала Алиса.

– Ну а к тому же... разве можно знать заранее? Он еще так молод... Разумеется, у него прекрасные задатки, но одного этого недостаточно...

– Что же еще нужно?

– Что я могу тебе ответить, доченька? И доверие нужно, и поддержка, и любовь...

– А что ты называешь поддержкой? – прервала его Алиса.

– Привязанность и уважение к любимому человеку... чего мне так не хватало, – с грустью ответил дядя; затем голоса окончательно стихли вдали.

Во время вечерней молитвы я все терзался своей невольной бестактностью и дал себе слово завтра же признаться кузине. Возможно, к этому решению примешивалось и желание узнать что-нибудь еще из их разговора.

На следующий день в ответ на первые же мои слова она произнесла:

– Но, Жером, ведь подслушивать – это очень дурно. Ты должен был нас предупредить или уйти.

– Уверяю тебя, я не подслушивал... просто я нечаянно услышал... Вы же проходили мимо.

- Мы шли очень медленно.
- Да, но слышно было очень плохо. А потом и вовсе ничего... Скажи, что тебе ответил дядя, когда ты спросила, что еще нужно?
- Жером, – рассмеялась она, – ты же все прекрасно слышал! Просто тебе хочется, чтобы я это повторила.
- Уверяю тебя, я расслышал только первые слова... когда он говорил о доверии и о любви.
- Потом он сказал, что нужно еще много всего другого.
- А ты что ответила?
- Она вдруг посерьезнела:
- Когда он сказал, что в жизни нужна поддержка, я ответила, что у тебя есть мать.
- Ах, Алиса, ты же знаешь, что она не всегда будет со мной... Да и потом это совсем разные вещи...
- Она опустила глаза.
- Он мне сказал то же самое.
- Весь дрожа, я взял ее за руку.
- Чего бы я ни добился в жизни, знай, что это ради тебя одной.
- Но, Жером, я тоже могу когда-нибудь покинуть тебя.
- Всю душу вложил я в свои слова:
- А я не покину тебя никогда!
- Она слегка пожала плечами:
- Разве у тебя не хватит сил, чтобы идти вперед одному? Каждый из нас должен прийти к Богу самостоятельно.
- Нет, все равно только ты укажешь мне верный путь.
- Зачем тебе понадобилось искать другого проводника, кроме Христа?.. Неужели ты думаешь, что мы сможем когда-нибудь стать ближе друг к другу, чем тогда, когда, забывая один о другом, мы возносим молитву Богу?
- Да, чтобы он соединил нас, – перебил я ее, – только об этом я и молю его утром и вечером.
- Разве ты не понимаешь, что бывает единение в Боге?
- Понимаю всем сердцем! Это значит, забыв обо всем, обрести друг друга в поклонении одному и тому же. Мне даже кажется, что я поклоняюсь тому же, что и ты, только ради того, чтобы обрести тебя.
- Значит, твоя любовь к Богу непротиворечива.
- Не требуй от меня слишком многого. На что мне небеса, если я не смогу обрести там тебя.
- Приложив палец к губам, она произнесла с торжественностью в голосе:
- *Ищите прежде царства Божия и правды его.*
- Передавая сейчас тот наш разговор, я понимаю, что он покажется отнюдь не детским тому, кто не знает, сколько нарочитой серьезности вкладывают в свои разговоры некоторые дети. Но и что из того? Неужели же сейчас я стану искать какие-то оправдания тем словам? Ни в малейшей степени, так же как не собираюсь приглаживать их, чтобы они выглядели естественнее.
- Оба мы раздобыли Евангелие в латинском переводе и уже знали наизусть целые страницы. Алиса выучила латынь вместе со мной под предлогом помощи брату, но я-то думаю, что она просто не хотела отставать от меня в чтении. И я, как следствие, отныне увлекался только теми предметами, про которые я точно знал, что они заинтересуют и ее. Если это и стало чему-либо помехой, то уж, во всяком случае, не моему рвению, как можно было бы предположить; напротив, мне тогда казалось, что она с легкостью опережает меня во всем. Просто дух мой избирал себе путь с постоянной оглядкой на нее, да и вообще все, что нас занимало тогда, все,

что понималось нами под словом «мысль», чаще служило лишь предлогом к некоему единению душ, причем более изысканному, нежели обычная маскировка чувства или одно из обличей любви.

Мать моя поначалу, видимо, была обеспокоена возникшим между нами чувством, всей глубины которого она не могла пока и вообразить; однако со временем, видя, как убывают ее силы, она все более лелеяла надежду соединить нас своим материнским объятием. Болезнь сердца, от которой она страдала уже давно, давала о себе знать все чаще. Во время одного из особенно сильных приступов она подозвала меня.

– Бедный мой мальчик, видишь, как я постарела, – сказала она. – Вот так же однажды вдруг я и покину тебя.

Не в состоянии продолжать, она замолчала. Тогда я в неудержимом порыве почти выкрикнул слова, которых, как мне показалось, она и ждала от меня:

– Мамочка... ты знаешь, как я хочу, чтобы Алиса стала моей женой. – Этой фразой я, очевидно, выразил самые сокровенные ее мысли, потому что она сразу же подхватила:

– Конечно, Жером, именно об этом я и хотела поговорить с тобой.

– Мамочка, – всхлипнул я, – как ты думаешь, она меня любит?

– Конечно, мальчик мой. – И она несколько раз повторила с нежностью: – Конечно, мальчик мой. – Каждое слово давалось ей с трудом, и она добавила: – Пусть Господь решит.

Наконец, когда я наклонился к ней, она погладила меня по голове, сказав: – Храни вас Бог, дети мои! Храни вас Бог обоих! – а затем впала в какое-то сонное оцепенение, из которого я уже не пытался ее вывести.

К этому разговору мы больше не возвращались; на другой день матери стало лучше, я отправился на занятия, и те полупризнания словно бы забылись. Да и что еще я мог тогда для себя открыть? В любви Алисы ко мне я не сомневался ни на мгновение, а если бы даже и возникла хоть тень сомнения, она навек исчезла бы из моего сердца после печального события, которое случилось вскоре же.

В один из вечеров моя мать тихо угасла, почти на руках у меня и мисс Эшбертон. Сердечный приступ, который унес ее, поначалу не казался сильнее тех, что бывали раньше, и тревогу мы почувствовали лишь перед самым концом, поэтому никто из родных даже не успел ее застать. Первую ночь возле нашей дорогой покойницы мы провели также вдвоем с ее старой подругой. Я очень любил мать и, помню, был очень удивлен, что, несмотря на слезы, в глубине души я не чувствовал особой печали; да и плакал я больше от жалости к мисс Эшбертон, которая была безутешна от мысли, что ее подруга, будучи намного моложе ее самой, поспешила вперед нее предстать перед Богом. Тайная надежда на то, что это скорбное событие ускорит наш с Алисой брак, была во мне несравненно сильнее, чем чувство горя.

На следующий день приехал дядя. Он передал мне письмо от своей дочери, которая прибыла вместе с тетей Плантье еще на день позже.

...Жером, друг мой и брат, – писала она, – мне так жаль, что я не смогла сказать ей перед смертью несколько слов, которые принесли бы ей то великое успокоение, коего она так ждала. Пусть же простит меня! И пусть отныне один только Бог ведет нас обоих! Прощай, бедный мой друг. Твоя, нежнее, чем прежде, Алиса.

Что могло означать это письмо? Что это могли быть за слова – по поводу которых она так жалела, что вовремя не сказала их, – если не те, где она ясно определяла бы наше совместное будущее? Впрочем, я был тогда слишком юн, чтобы немедленно просить ее руки. Да и нуждался ли я в обещаниях с ее стороны? Разве не были мы уже как бы обручены? Для близких наша любовь не являлась тайной, ни дядя, ни тем более моя мать не чинили нам никаких препятствий, напротив, дядя держал себя со мной как с родным сыном.

Пасхальные каникулы, наступившие через несколько дней, я проводил в Гавре, живя в доме тети Плантье, но завтракая и обедая почти всегда у дяди Бюколена.

Тетя Фелиция Плантье была добрейшей женщиной, однако ни кузины, ни я не были с ней в особенно доверительных отношениях. Она пребывала в какой-то вечной суете, все ее движения были отрывистыми и беспорядочными, а голос начисто был лишен плавности и выразительности; среди дня она могла, застигнув кого-либо из нас врасплох, затискать в объятиях – столь бурным было переполнявшее ее чувство привязанности к нам. Дядя Бюколен очень любил ее, но достаточно было один раз услышать, каким тоном он разговаривал с ней, чтобы мы явственно ощутили, насколько ближе ему была моя мать.

– Бедный мой мальчик, – начала она однажды вечером, – не знаю, что ты собираешься делать этим летом, но я бы хотела знать твои планы, чтобы решить, чем я сама буду заниматься. Если я могу быть тебе чем-нибудь полезной...

– Я как-то об этом еще не думал, – ответил я. – Наверное, отправлюсь куда-нибудь попутешествовать.

Она не унималась:

– Просто имей в виду, что у меня тебе будет ничуть не хуже, чем в Фонгезмаре. Конечно, если ты поедешь туда, и твоему дяде, и Жюльетте будет очень приятно...

– Вы хотите сказать, Алисе.

– Разумеется! Извини, ради бога... Поверишь ли, но я почему-то вообразила, что ты любишь Жюльетту! И только когда твой дядя все мне рассказал... примерно с месяц назад... Понимаешь, я очень люблю вас всех, но не слишком-то знаю, какие вы; мне так редко удается вас видеть!.. Я потом, я совсем не наблюдательна, у меня совершенно нет времени на то, чтобы спокойно разобраться в том, что меня не касается. Я видела, ты всегда играешь с Жюльеттой... ну, и подумала... она ведь такая милая, веселая.

– Да, я до сих пор охотно играю с ней, но люблю все же Алису...

– Ну и прекрасно! Замечательно, люби на здоровье... Я же, пойми, просто почти совсем не знаю ее, она такая молчаливая, не то что ее сестра. Но уж если ты выбрал именно ее, то наверняка у тебя были на то какие-то веские причины.

– Но, тетя, я вовсе не выбирал ее, чтобы полюбить, и мне даже в голову не приходило, что нужно иметь какие-то причины, чтобы...

– Ну, не сердись, Жером, право, я не собираюсь хитрить с тобой... Вот теперь из-за тебя забыла, о чем хотела сказать... Ах, да, слушай: я, конечно же, уверена, что все это закончится свадьбой, но у тебя траур, и тебе сейчас все-таки не полагается обручаться... да и молод ты пока еще... Я и подумала, что твое нынешнее присутствие в Фонгезмаре, без матери, может быть неправильно истолковано...

– Тетя, но я же именно поэтому и сказал, что собираюсь попутешествовать.

– Да-да. Так вот, мальчик мой, я подумала, что все уладится, если рядом с тобой буду я, и поэтому я так все устроила, чтобы часть лета у меня была свободной.

– Мне достаточно было бы попросить мисс Эшбертон, и она бы с радостью приехала.

– Я уже знаю, что и она приедет. Но этого мало! Я тоже там побуду... Не подумай, я и не претендую на то, чтобы заменить твою мать, бедняжку, – здесь она вдруг начала всхлипывать, – но я смогу помочь по хозяйству... В общем, ни ты, ни дядя твой, ни Алиса ничем стеснены не будете.

Тетя Фелиция заблуждалась относительно пользы от ее присутствия. По правде говоря, если нас что-то и стесняло, то только оно. Как ею и было обещано, она с июля обосновалась в Фонгезмаре, куда вскоре переехали и мы с мисс Эшбертон. Вызвавшись помочь Алисе в хлопотах по дому, она наполняла этот самый дом – прежде такой тихий – несмолкающим шумом. Усердие, с каким она бралась за то, чтобы нам было хорошо с ней и чтобы, как она говорила,

«все уладилось», настолько нас подавляло, что мы с Алисой не знали, как себя вести в ее присутствии, и чаще всего сидели, точно воды в рот набрав. Должно быть, она сочла нас очень угрюмыми и нелюдимыми... Но даже если бы мы и не молчали, разве она смогла бы хоть что-то понять в нашей любви?... А вот Жюльетте с ее характером, напротив, оказалось довольно легко приспособиться к этому буйству чувств, и потому к нежности, которую я питал к тете, примешивалась некоторая обида на то, что младшая ее племянница пользовалась у нее совершенно очевидным предпочтением.

Однажды утром, получив почту, она позвала меня.

– Жером, бедняжка, если бы ты знал, как я расстроена: заболела моя дочь и просит срочно приехать, так что мне придется покинуть вас...

Терзаемый неуместной щепетильностью, я тут же отправился разыскивать дядю, дабы выяснить, приличествует ли мне оставаться в Фонгезмаре после отъезда тети. Но после первых же моих слов он прервал меня, воскликнув:

– Чего только не выдумает моя несчастная сестра, чтобы усложнить простейшее дело! Да с какой это стати ты вдруг от нас уедешь, Жером? Ведь ты для меня уже почти как сын родной!

Таким образом, тетя не пробыла в Фонгезмаре и двух недель. С ее отъездом в доме опять все пошло по-старому, вернулось прежнее спокойствие, которое так напоминало счастье. Траур мой совсем не омрачал нашу любовь, но делал ее строже, серьезнее. Началась размеренная, неторопливая жизнь, в которой, словно в пустом амфитеатре, было отчетливо слышно малейшее биение наших сердец.

Как-то вечером, спустя несколько дней после отъезда тети, за столом разговор зашел о ней, и, помнится, мы тогда говорили:

– Откуда такая суетливость! Чем объяснить, что душа ее беспрестанно клокочет от избытка жизни? Вот каким может предстать твоё отражение, о прекрасный лик любви!..

Мы имели в виду изречение Гете по поводу г-жи фон Штейн: «Было бы чудесно взглянуть на отражение мира в этой душе». Тут же мы выстроили неведомо какую иерархию, поставив на самую вершину качества, так или иначе связанные с созерцанием. Все время молчавший дядя вдруг заговорил, глядя на нас с грустной улыбкой:

– Дети мои, Господь узнает образ свой, даже если он разбит на тысячу осколков. Поостережемся же судить о человеке по одному-двум эпизодам его жизни. Те качества, что так не нравятся вам в моей несчастной сестре, развились у нее после целого ряда событий, о которых мне известно слишком много, чтобы я мог позволить себе судить ее так же строго, как это делаете вы. Не существует таких человеческих качеств, которые, будучи весьма милыми в молодости, к старости не становились бы неприятными. То, что вы называли суетливостью, поначалу было у Фелиции очаровательной живостью, непосредственностью, открытостью и изяществом... Поверьте мне, мы не слишком отличались от вас сегодняшних. Я, например, ходил на тебя, Жером, – наверное, даже больше, чем можно сейчас себе представить. Фелиция весьма напоминала нынешнюю Жюльетту... да-да, вплоть до физического сходства: бывает, ты что-то такое скажешь или засмеешься, – здесь он обернулся к Жюльетте, – и я вдруг ощущаю, что это она, но толь та, давняя; у нее была точно такая же улыбка, как у тебя, и еще эта привычка – ты тоже иногда так делаешь, а у нее это довольно быстро прошло: просто сидеть, ничем не занимаясь, выставив вперед локти и уперевшись лбом в сплетенные пальцы рук.

Мисс Эшбертон наклонилась ко мне и почти прошептала:

– А Алиса очень напоминает твою мать.

Лето в тот год было великолепным. Казалось, все было проникнуто голубизной, купалось в ней. Жар наших сердец торжествовал над силами зла, над смертью, любая тень отсту-

пала перед нами. Каждое утро я просыпался от ощущения радости, вставал с первым лучом солнца, бросаясь в объятия нового дня... Когда я в мечтах вспоминаю те дни, они являются мне, словно бы омытые росой. Жюльетта поднималась гораздо раньше сестры – Алиса обычно засиживалась допоздна – и спускалась вместе со мной в сад. Она сделалась посредницей между сестрой и мною; ей я мог до бесконечности рассказывать о нашей любви, а она, похоже, была готова без усталости слушать меня. Я говорил ей то, что не осмеливался сказать самой Алисе, перед которой от избытка любви робел и терялся. Да и Алиса как бы приняла эту игру: ей, видимо, нравилось, что я с такой радостью о чем-то говорю с ее сестрой, хоть она и не знала – или делала вид, что не знает, – что мы говорили только о ней.

О прелестное притворство любви, точнее, притворство от избытка любви! Какими тайными путями ты вело нас от смеха к слезам и от прозрачно-наивной радости к суровой требовательности добродетели!

Лето ускользало, прозрачное и плавное настолько, что из тех перетекавших один в другой дней моя память сегодня почти ничего не в состоянии воскресить. Из событий только и было, что разговоры да чтение...

– Мне снился дурной сон, – сказала Алиса однажды утром, когда мои каникулы уже подходили к концу. – Как будто я живу, а ты умер. Нет, я не видела, как ты умирал, а просто знала: ты умер. Это было так ужасно, так невозможно, что я решила: буду думать, что ты исчез, тебя нет. Мы оказались разлучены, но я чувствовала, что остался какой-то способ снова увидеться с тобой, я все искала его, искала и от напряжения проснулась. И все утро, мне кажется, находилась под впечатлением от этого сна – как будто он продолжался. Мне по-прежнему представлялось, что нас с тобой разлучили и что я буду с тобой в разлуке еще долго-долго... Всю мою жизнь, – добавила она едва слышно, – и что всю жизнь от меня будут требоваться какие-то большие усилия...

– Для чего?

– От нас обоих потребуются большие усилия – чтобы соединиться.

Я не принял всерьез эти ее слова или побоялся принять их всерьез. Словно оспаривая их, с отчаянно бьющимся сердцем, в приливе внезапной смелости я выпалил:

– А мне сегодня приснилось, что я женюсь на тебе, и ничто, ничто на свете не сможет нас разлучить – разве только смерть.

– Ты считаешь, что смерть разлучает? – сразу же спросила она.

– Я хотел сказать...

– Я думаю, наоборот, она может сблизить... да, сблизить то, что при жизни было разъединено.

Все это вошло в нас так глубоко, что я до сих пор отлично помню даже интонацию, с которой те слова были сказаны. Вот только смысл их во всей полноте стал мне понятен лишь много позднее.

Лето ускользало. Почти все поля уже опустели, так что становилось как-то неожиданно далеко видно. Вечером накануне моего отъезда, нет, даже за день до него, мы прогуливались с Жюльеттой в леске за нижним садом.

– Что это такое ты читал вчера Алисе? – спросила она меня.

– Когда именно?

– Когда вы остались на скамейке у карьера, а мы ушли вперед...

– А... кажется, что-то из Бодлера...

– А что? Ты не мог бы мне почитать?

– *Мы погружаемся во тьму, в оцепененье...*¹ – начал я неохотно, однако она тут же подхватила каким-то изменившимся, дрожащим голосом:

– *О лето жаркое, недолог праздник твой!*

– Как! Ты это знаешь? – воскликнул я в изумлении. – А мне казалось, что ты вообще не любишь стихов...

– Отчего же? Просто ты никогда не читал их мне, – ответила она и засмеялась, впрочем, слегка натянуто. – Временами, я замечаю, ты принимаешь меня совсем за дурочку.

– Можно быть очень умным человеком и при этом не любить стихи. Я никогда не слышал, чтобы ты их сама читала или просила меня почитать.

– Я не могу соперничать с Алисой... – Она на мгновение замолчала и вдруг, словно спохватившись: – Так ты уезжаешь послезавтра?

– Что делать...

– А чем ты будешь заниматься зимой?

– Буду учиться на первом курсе Эколь Нормаль.

– А когда же ты собираешься жениться на Алисе?

– Не раньше, чем отслужу в армии. Даже, пожалуй, не раньше, чем станет более или менее ясно, что я буду делать в дальнейшем.

– А разве ты еще не решил?

– Я пока и не хотел бы решать. Слишком многое меня влечет. Я постоянно откладываю тот момент, когда нужно будет сделать выбор и заняться чем-то одним.

– А помолвку ты тоже откладываешь из-за того, что боишься определенности?

Я молча пожал плечами, однако она продолжала настаивать:

– Так чего же вы ждете? Почему не обручитесь уже сейчас?

– А зачем нам обручаться? Разве нам недостаточно знать, что мы принадлежим и будем принадлежать друг другу, не оповещая об этом всех вокруг? Если я посвящаю ей свою жизнь, неужели ты думаешь, что моя любовь станет крепче от каких-то обещаний? Я считаю, наоборот, всякие клятвы оскорбляют любовь... Помолвка мне была нужна лишь в том случае, если бы я не доверял ей.

– В ней-то я ни капельки не сомневаюсь...

Мы медленно шли по саду и были как раз в том месте, где я когда-то невольно подслушал разговор Алисы с ее отцом. Внезапно я подумал, что Алиса – а она тоже вышла в сад, я видел – сейчас сидит на скамейке возле развилки аллеи и вполне может нас услышать; я сразу же ухватился за возможность объяснить ей таким образом то, чего не смел сказать прямо; в восторге от своей выдумки, я стал говорить громче.

– О! – воскликнул я с несколько чрезмерной для моего возраста напыщенностью; поглощенный своими излияниями, я не улавливал в репликах Жюльетты того, что она намеренно не договаривала. – О! Если бы люди могли, взглядевшись в душу любимого человека, увидеть там, словно в зеркале, свой собственный образ! Читать в другом, как в самом себе, и даже лучше, чем в себе! Какой безмятежной была бы тогда нежность! Какой чистой была бы любовь!..

Волнение Жюльетты при этих словах я самодовольно отнес на счет моего ходульного лиризма. Она вдруг припала к моему плечу.

– Жером, милый! Я так хотела бы верить, что она будет счастлива с тобой! Если же ты принесешь ей страдания, мне кажется, я возненавижу тебя.

– Ах, Жюльетта! – воскликнул я, обняв ее и глядя ей в глаза. – Я сам возненавидел бы себя за это. Как тебе объяснить... Ведь я не определяюсь в своей карьере именно потому, что хочу по-настоящему начать жизнь только с ней вместе! И я не думаю ни о каком будущем, пока она не со мной! Да и не собираюсь я никем становиться без нее...

¹ «Осенняя песнь». Пер. М. Донского.

– А что она отвечает, когда ты ей говоришь об этом?

– Да в том-то и дело, что я никогда с ней об этом не говорил! Ни разу! Вот еще одна причина, почему мы до сих пор не помолвлены. Мы даже никогда не заговаривали ни о свадьбе, ни о том, что будем делать дальше. Ах, Жюльетта! Жизнь вместе с ней кажется мне настолько прекрасной, что я не смею, понимаешь, не смею ей об этом говорить.

– Ты хочешь, чтобы счастье для нее было внезапным.

– Да нет же, вовсе нет! Просто я боюсь... испугать ее, понимаешь?.. Я боюсь, как бы это огромное счастье, которое мне уже видится, не внушило ей страха!.. Однажды я спросил, не хочется ли ей отправиться в путешествие. Она ответила, что не хочется, ей вполне достаточно знать, что та или иная страна существует, что там хорошо и что другие могут спокойно отправиться туда...

– Жером, а ты сам хочешь путешествовать?

– По всему свету! Мне и жизнь представляется как долгое-долгое путешествие – вместе с ней – по разным книгам, странам, людям... Вдумывалась ли ты когда-нибудь, что означают такие слова, как, например, «поднять якорь»?

– Да, я часто об этом думаю, – прошептала она.

Однако я почти не слышал ее и продолжал говорить сам, а те слова упали на землю, как несчастные подстреленные птицы.

– Отплыть ночью, проснуться в ослепительном блеске зари и почувствовать, что мы одни среди этих зыбких волн...

– А потом будет порт, который ты видел на карте еще ребенком, и все вокруг так ново, незнакомо... Я вижу, как вы с Алисой сходите на берег, она опирается на твою руку...

– Мы сразу побежим на почту, – подхватил я, смеясь, – и спросим, нет ли для нас письма от Жюльетты...

– Из Фонгезмара, где она останется одна, и этот уголок покажется вам таким маленьким, грустным и таким далеким-далеким...

Точно ли это и были ее слова? Не берусь утверждать, так как, повторяю, я был настолько переполнен своей любовью, что, кроме ее голоса, никакой другой для меня словно не существовал.

Мы подошли тем временем к развилке аллеи и собирались уже повернуть обратно, как вдруг, выйдя из густой тени, перед нами возникла Алиса. Она была так бледна, что Жюльетта вскрикнула.

– Мне в самом деле что-то нездоровится, – проронила она поспешно. – Уже стало свежо. Пожалуй, я лучше вернусь в дом.

И, повернувшись, она быстро пошла к дому.

– Она все слышала! – воскликнула Жюльетта, как только Алиса несколько удалилась.

– Но мы не сказали ничего такого, что могло бы ее огорчить. Напротив...

– Оставь меня, – бросила Жюльетта и побежала догонять сестру.

В эту ночь мне так и не удалось заснуть. Алиса еще выходила к ужину, но потом сразу ушла к себе, сославшись на мигрень. Что она все-таки слышала из нашего разговора? Я лихорадочно перебирал в памяти наши слова. Потом я вдруг подумал, что, наверное, мне не следовало идти совсем рядом с Жюльеттой, да еще приобняв ее за плечи; однако то была не более чем детская привычка, мы часто так гуляем, и Алиса много раз нас видела. Ах, каким же я был слепцом, выискивая свои прегрешения и даже ни разу не подумав о том, что Алиса вполне могла, гораздо лучше, чем я, услышать слова Жюльетты, на которые я едва обращал внимание и которые почти не мог припомнить. До них ли мне было! В страшной тревоге и растерянности, в ужасе от одной мысли, что Алиса может усомниться во мне, и не в состоянии вообразить, что опасность может исходить от чего-то иного, я решил, несмотря на все сказанное мною

Жюльетте, и, видимо, под впечатлением от того, что сказала мне она, решил отбросить свои опасения, свою щепетильность и завтра же объявить о помолвке.

До моего отъезда оставался один день. Я мог предположить, что Алиса так грустна именно из-за этого. Мне даже показалось, что она меня избегает. День проходил, а я все не мог увидеться с ней наедине; испугавшись, что мне придется уехать, так и не поговорив с нею, я перед самым ужином решил войти прямо к ней в комнату; она надевала коралловое ожерелье и, чтобы застегнуть его, подняла руки и немного наклонилась вперед, стоя спиной к двери и глядя через плечо в зеркало, по бокам которого горели два канделябра. Именно в зеркале она меня сначала и увидела, но не обернулась, а еще некоторое время так смотрела на меня.

– Надо же! Оказывается, дверь была не заперта?

– Я стучал, ты не ответила, Алиса, ты знаешь, что я завтра уезжаю?

Она не ответила, только положила на камин ожерелье, которое ей так и не удалось застегнуть. Слово «помолвка» показалось мне слишком откровенным, слишком грубым, и уж не помню, что я сказал вместо него. Едва Алиса поняла, о чем я говорю, она точно потеряла равновесие и оперлась о каминную полку... Впрочем, меня самого так трясло, что я был не в состоянии поднять на нее глаз.

Я стоял совсем близко и, по-прежнему глядя в пол, взял ее за руку; она не отняла ее, а, напротив, слегка наклонившись и приподняв мою руку, прикоснулась к ней губами и прошептала, почти прижимаясь ко мне:

– Нет, Жером, нет, не будем обручаться, прошу тебя...

Сердце мое так сильно билось, что, по-моему, и ей было слышно. Еще более нежным голосом она добавила:

– Не будем пока...

– Но почему? – тут же спросил я.

– Это я тебя должна спросить почему. Зачем все менять?

Я не осмелился задать ей вопрос о вчерашнем разговоре, но она, вероятно, догадалась, о чем я подумал, и как бы в ответ на мои мысли сказала, глядя мне прямо в глаза:

– Ты ошибаешься, мой друг: мне не нужно так много счастья. Ведь мы уже и так счастливы, правда?

Она хотела улыбнуться, но улыбке не получилось.

– Нет, потому что я должен покинуть тебя.

– Послушай, Жером, сегодня я не могу говорить с тобой об этом... Давай не будем омрачать наши последние минуты вместе... Нет-нет. Успокойся же, я люблю тебя сильнее, чем прежде. Я напишу тебе письмо и все объясню. Обещаю, что напишу завтра же... как только ты уедешь. А сейчас ступай, иди! Ну вот, я уже плачу... Оставь меня...

Она отталкивала меня, мягко отстраняясь от моих объятий, и, оказалось, это и было нашим прощанием, потому что в тот вечер мне больше не удалось ничего ей сказать, а на следующий день, когда я уже выходил из дома, она заперлась у себя. Я увидел только, как она помахала мне рукой, провожая взглядом увозивший меня экипаж.

III

В тот год я почти не виделся с Абелем Вотье: не дожидаясь призыва, он поступил добровольцем, а я заканчивал повторный курс в выпускном классе и готовился к кандидатским экзаменам. Будучи на два года моложе Абеля, я решил проходить службу после окончания Эколь Нормаль, куда мы оба как раз должны были поступить.

Мы были рады вновь увидеть друг друга. По окончании службы в армии он больше месяца путешествовал. Я боялся, что найду его очень изменившимся, однако он лишь приобрел большую уверенность в себе, сохранив в полной мере прежнее свое обаяние. Всю вторую половину дня накануне начала занятий мы провели вместе в Люксембургском саду, и я, не удержавшись, подробно рассказал ему о своей любви, о которой он, впрочем, знал и без того. За прошедший год он приобрел кое-какой опыт в отношениях с женщинами, вследствие чего общался со мной с некоторым самодовольством и высокомерием; я на это, однако, не обижался. Он высмеял меня за то, что я, как он выражался, не смог настоять на своем, и не уставал твердить, что главное – не давать женщине опомниться. Я не возражал ему, но все же думал, что его замечательные советы не годились ни для меня, ни для нее и что он просто показывал, насколько плохо он понял характер наших отношений.

На другой день после нашего приезда я получил такое письмо:

Дорогой Жером!

Я много думала над тем, что ты мне предлагал (что я предлагал! Так говорить о нашей помолвке!). Боюсь, что я слишком немолода для тебя. Вероятно, тебе это пока не так заметно, поскольку ты еще не встречался с другими женщинами, но я думаю о том, как мне придется страдать впоследствии, когда, уже будучи твоей, я увижу, что перестала тебе нравиться. Скорее всего, ты будешь очень возмущаться, читая эти строки: мне кажется, я даже слышу твои возражения – но тем не менее прошу тебя подождать еще, пока ты не станешь немного постарше.

Пойми, я говорю здесь лишь о тебе одном, ибо про себя я знаю точно, что никогда не перестану любить тебя.

Алиса

Перестать друг друга любить! Да разве можно было хотя бы представить себе такое! Мое удивление было даже сильнее огорчения; в полной растерянности, захватив письмо, я помчался к Абелю.

– Ну и что же ты собираешься делать? – спросил он, качая головой и сжав губы, после того как прочитал письмо. Я воздел руки в знак неуверенности и отчаяния. – Надеюсь по крайней мере, что отвечать ты не будешь! С женщинами только начни серьезный разговор – пиши пропало... Слушай меня: если в субботу вечером мы доберемся до Гавра, то в воскресенье утром можем быть уже в Фонгезмаре и вернемся обратно в понедельник, к первой лекции. Твоих я в последний раз видел еще до армии, так что предлог вполне подходящий и для меня приятный. Если Алиса поймет, что это лишь предлог, тем лучше! Я беру на себя Жюльетту, а ты в это время поговоришь с ее сестрой, причем постарайся вести себя по-мужски... По правде говоря, есть в твоей истории что-то не очень мне понятное. Наверное, ты не все мне рассказал... Но не важно, я сам все выясню!.. Главное, не сообщай им о нашем приезде: твою кухню нужно застичь врасплах и не дать ей времени подготовиться к обороне.

Едва я толкнул садовую калитку, сердце мое так и забилося. Навстречу нам сразу же выбежала Жюльетта; Алиса была занята в бельевой и выходить явно не спешила. Мы уже всю

беседовали с дядей и мисс Эшбертон, когда она наконец спустилась в гостиную. Если наш внезапный приезд и взволновал ее, то это ничуть не было заметно; я вспомнил слова Абеля и подумал, что она так долго не выходила именно потому, что готовилась к обороне. Ее сдержанность казалась еще более холодной на фоне необычайной живости Жюльетты. Я почувствовал, что она осуждает меня за это возвращение, по крайней мере весь ее вид выражал лишь неодобрение, а искать за ним какое-то тайное и более искреннее чувство я не решался. Она села в дальний угол у окна и, как бы отвлекшись от всего, полностью погрузилась в вышивание, сосредоточенно разбирая узор и слегка шевеля губами. К счастью, Абель не умолкал, ибо сам я был совершенно не в состоянии поддерживать разговор, так что без его рассказов о военной службе и о путешествии первые минуты встречи были бы крайне томительными. Похоже, и дядя был чем-то весьма озабочен.

Не успели мы пообедать, как Жюльетта взяла меня за руку и позвала в сад.

– Ты представляешь, меня уже сватают! – выпалила она, как только мы остались вдвоем. – Вчера папа получил письмо от тети Фелиции, она пишет, что какой-то виноградарь из Нима собирается просить моей руки. По ее уверениям, человек он очень хороший, этой весной видел меня несколько раз в гостях и вот влюбился.

– А ты сама его хотя бы заметила, этого господина? – спросил я с непроизвольной враждебностью по отношению к новоявленному поклоннику.

– Да, я поняла, кто это. Этаким добродушный Дон Кихот, неотесанный, грубый, очень некрасивый и довольно забавный, так что тете стоило немалых усилий держаться с ним серьезно.

– Ну и как, есть ли у него... основания надеяться? – съязвил я.

– Перестань, Жером! Ты шутишь! Какой-то торговец!.. Если бы ты хоть раз его увидел, то не стал бы задавать таких вопросов.

– Ну а... дядя-то что ответил?

– То же, что и я: дескать, я еще слишком молода для замужества... К несчастью, – хихикнула она, – тетя предвидела подобное возражение и написала в постскриптуме, что господин Эдуар Тессьер – так его зовут – согласен подождать, а сватается он так заранее просто для того, чтобы «занять очередь»... Как все это глупо! А что еще мне было делать? Не могла же я просить передать ему, что он страшен, как смертный грех!

– Нет, но могла сказать, что не хочешь мужа-виноградяра.

Она пожала плечами.

– Все равно для тети это было бы непонятно... Ладно, хватит об этом. Скажи лучше, ведь Алиса тебе писала?

Она буквально тараторила и вообще была очень возбуждена. Я протянул ей письмо Алисы, которое она прочла, густо краснея. Затем она спросила, и мне послышались в ее голосе гневные нотки:

– Ну так что же ты собираешься делать?

– Даже и не знаю, – ответил я. – Оказавшись здесь, я сразу же понял, что мне было бы гораздо легче тоже написать ей. Я уже корю себя за то, что приехал. Но ты-то хоть понимаешь, что она хотела сказать?

– Я думаю, она хочет предоставить тебе полную свободу.

– Но на что она мне, эта свобода? Зачем она такое пишет, тебе ясно или нет?

Она ответила: «Нет», но так сухо, что я, совершенно не будучи ни в чем уверенным, все же именно с этой минуты заподозрил, что Жюльетте, должно быть, что-то известно. Внезапно на повороте аллеи, по которой мы шли, она обернулась.

– А сейчас оставь меня. Ты же приехал не для того, чтобы болтать со мной. Мы и так пробыли слишком долго вдвоем.

И она побежала к дому, а уже через минуту я услышал ее фортепьяно.

Когда я вошел в гостиную, она, не переставая играть, разговаривала с подошедшим Абе-лем, но как-то вяло и довольно бессвязно. Я снова вышел в сад и долго бродил по нему в поисках Алисы.

Нашел я ее в той части сада, где росли фруктовые деревья; возле самой стены она соби-рала букет из первых хризантем, чей аромат мешался с запахом опавшей буковой листвы. Воз-дух весь был напоен осенью. Солнце отдавало свое последнее скудное тепло цветам на шпале-рах, небо было безоблачным, ясным, как на Востоке. Лицо Алисы тонуло в большом, глубоком головном уборе, который Абель привез для нее из своего путешествия по Зеландии и который она немедленно надела. При моем приближении она не обернулась, но по тому, как она слегка вздрогнула, я понял, что она услышала мои шаги. Я внутренне напрягся, собирая всю свою смелость, чтобы вынести тот суровый укор, с которым она вот-вот должна была на меня взгля-нуть. Словно желая оттянуть это мгновение, я сбавил шаг и был уже совсем близко, как вдруг она, по-прежнему не поворачиваясь ко мне лицом, а глядя в землю, точно надутый ребенок, протянула почти за спину, навстречу мне, большой букет хризантем, как бы в знак того, что мне можно подойти. А поскольку я предпочел истолковать сей жест наоборот и остановился как вкопанный, она сама, наконец обернувшись, подошла ко мне, подняла голову, и я увидел... что она улыбается! В сиянии ее глаз мне вдруг все снова показалось таким простым и есте-ственным, что я без всякого усилия и ничуть не изменившимся голосом сказал:

– Я вернулся из-за твоего письма.

– Я так и подумала, – сказала она и, смягчая голосом свой упрек, добавила: – Это как раз меня больше всего и рассердило. Почему ты так странно воспринял мои слова? Ведь речь идет о совсем простых вещах... (Мои огорчения и заботы в тот же миг и впрямь показались мне какими-то надуманными, рожденными лишь воображением.) Разве я не говорила тебе, что мы и так уже счастливы? Почему же тебя удивляет мой отказ что-либо менять, как ты это предлагаешь?

В самом деле, рядом с ней я чувствовал себя счастливым, я был наверху блаженства – настолько, что желал лишь одного: думать так, как она, жить ее мыслью; мне только и нужна была эта ее улыбка, да еще взять бы ее за руку и идти, идти вот так, вместе, среди этих цветов, под этим ласковым солнцем.

– Если ты считаешь, что так будет лучше, – сказал я очень серьезно, раз и навсегда сми-ряясь со своей участью и полностью отдавшись мимолетному блаженству, – если ты так счита-ешь, тогда не надо никакой помолвки. Когда я получил твое письмо, я сразу же понял, что дей-ствительно был счастлив, но что мое счастье скоро кончится. Прошу тебя, верни мне его, без него я не смогу жить. Я так сильно люблю тебя, что готов ждать всю жизнь, но пойми, Алиса, если ты должна будешь разлюбить меня или усомнишься в моей любви, я этого не перенесу.

– Увы, Жером, как раз в этом я не сомневаюсь.

Она произнесла это спокойно и в то же время с грустью, но лицо ее по-прежнему свети-лось такой прекрасной, покойной улыбкой, что меня охватил стыд за мои опасения и настой-чивые попытки что-то изменить. Мне даже показалось, что только они и явились причиной грусти, нотки которой я расслышал в ее голосе. Без всякого перехода я заговорил о своих пла-нах, об учебе и о том новом жизненном поприще, на котором намеревался достичь немалых успехов. Тогдашняя Эколь Нормаль отличалась от той, в какую она превратилась с недавнего времени; ее довольно строгая дисциплина не подходила лишь ленивым или упрямым, а те, кто по-настоящему хотел учиться, получали для этого все возможности. Мне нравилось, что почти монастырский ее уклад оберегал бы меня от светской жизни, которая и без того не слишком меня влекла, а могла бы даже возбудить во мне отвращение, стоило только Алисе высказать на этот счет малейшее опасение. Мисс Эшбертон сохранила за собой парижскую квартиру, в которой они когда-то жили вместе с моей матерью. Ни у меня, ни у Абеля, кроме нее, в Париже

знакомых не было, и каждое воскресенье мы по полдня проводили бы у нее; по воскресеньям же я писал бы Алисе подробнейшие письма о своем житье-бытье.

К тому времени мы уже присели на остов полуразобранного парника, из которого там и сям выбивались длиннейшие огуречные плети, пустые и увядающие. Алиса слушала внимательно, задавала вопросы. Никогда прежде ее привязанность не казалась мне такой прочной, а нежность такой чуткой. Все мои опасения, заботы, малейшие волнения улетучивались от ее улыбки, растворялись в той восхитительной атмосфере душевной близости, словно туман в небесной лазури.

Потом к нам присоединились Жюльетта с Абелем, и мы, сидя на скамейке под буками, провели остаток дня за перечитыванием «Триумфа времени» Суинберна: каждый по очереди читал по одной строфе. Наступил вечер.

– Пора! – сказала Алиса, целуя меня на прощанье, будто бы в шутку, но одновременно как бы припоминая – и довольно охотно – роль старшей сестры, к обязанностям которой ей пришлось вернуться в связи с моим неблагоприятным поведением. – Обещай же мне, что отныне ты будешь менее романтичен, ладно?..

– Ну как, состоялась помолвка? – спросил меня Абель, едва мы снова остались вдвоем.

– Дорогой мой, об этом больше не может быть и речи, – отрезал я, добавив не менее категоричным тоном: – Так будет намного лучше, никогда еще я не был так счастлив, как сегодня вечером.

– И я тоже! – воскликнул он и вдруг бросился мне на шею. – Сейчас я скажу тебе нечто потрясающее, необыкновенное! Жером, я влюбился без памяти в Жюльетту! Я еще в прошлом году о чем-то таком догадывался, но с тех пор столько воды утекло, и я не хотел ничего говорить тебе до сегодняшней встречи. А теперь все: моя жизнь решена. *Люблю, да что люблю – боготворю Жюльетту!* То-то мне давно уже казалось, что я не просто так к тебе привязан, а как к будущему шуруну!..

Тут он начал петь, хохотать, изо всех сил сжимать меня в своих объятиях, прыгать, как ребенок, на своем диване в вагоне поезда, мчавшего нас в Париж. Я был буквально задушен его излияниями и одновременно несколько смущен присутствовавшей в них примесью литературности, но как, скажите мне, противостоять такому неистовому веселью?..

– Так что, ты уже объяснился? – вставил я наконец между двумя очередными приступами.

– Да нет же, как можно! – воскликнул он. – Я не собираюсь сжигать самую очаровательную главу в этой истории.

В любви и лучше есть мгновенья,
Чем те, что дарит объясненье...

Помилуй, кому другому, но только не тебе упрекать меня в медлительности!

– Ладно! – оборвал я его в некотором раздражении. – Скажи лучше, что она?..

– Так ты не заметил, как она была взволнована, увидев меня! Как она поминутно краснела, как была возбуждена, как от смущения без умолку говорила!.. Да нет, разумеется, ты ничего не заметил, ты был занят одной Алисой... А как она расспрашивала меня, как ловила каждое мое слово! Она здорово поумнела за этот год. Не знаю, с чего ты взял, что она не любит читать; просто ты, как всегда, все достоинства приписываешь Алисе... Нет, ты бы просто поразился ее познаниями! Угадай, какое развлечение мы нашли после обеда? Припоминали одну из дантовских *Canzone*! Каждый говорил по стиху, и это она поправляла меня, когда я сбивался. Ты знаешь ее прекрасно: *Amor che nella mente mi ragiona*. И ведь ни разу не сказал мне, что она выучилась итальянскому!

– Я и сам этого не знал, – пробормотал я, немало удивленный.

– Да как же! Когда мы только начали эту *Canzone*, она сказала мне, что услышала ее впервые от тебя.

– Видимо, она слышала, как я читал ее Алисе. Обычно она садилась где-нибудь рядом с шитьем или вышивкой, но черт меня возьми, если она хоть раз обнаружила, что все понимает!

– Вот же! Вы с Алисой оба погрязли в эгоизме. Варитесь в своей любви и даже взглядом не удостоите этот чудный росток, эту расцветающую душу, этот ум! Не хочу расхваливать сам себя, но как ни говори, а я появился очень вовремя... Нет-нет, ты же понимаешь, я несколько не сержусь на тебя, – спохватился он, вновь стиснув меня в объятиях. – Но обещай – Алисе ни слова. Беру это дело целиком на себя. Жюльетта влюблена, это ясно, так что я могу спокойно оставить ее в этом состоянии до каникул. Причем я даже не буду ей писать. А на Новый год мы вдвоем приедем в Гавр и уж тогда...

– Что тогда?

– Как что? Алиса вдруг узнает о нашей помолвке. У меня-то уж все пройдет как по маслу. А что будет потом, подумай-ка? Согласие Алисы, которого ты все никак не можешь добиться, ты получишь благодаря мне и нашему примеру. Мы убедим ее, что наша свадьба состоится только после вашей...

Он не закрывал рта и утопил меня в неиссякаемом словесном потоке, который не прекратился даже с прибытием поезда в Париж и даже с нашим приходом в Школу, потому что, хотя мы и проделали путь к ней от вокзала пешком и было уже далеко за полночь, Абель поднялся вместе со мной в мою комнату, где разговор и продолжился до самого утра.

Воодушевленный Абель расписал уже все наше настоящее и будущее. Он увидел и изобразил нашу двойную свадьбу, живописал в деталях всеобщее удивление и ликование, восторгался тем, как прекрасна вся наша история, наша дружба и его собственная роль в наших отношениях с Алисой. Поначалу я еще слабо защищался от такой дурманящей лести, но в конце концов не устоял и незаметно увлекся его химерическими прожектами. Любовь подогрела в нас обоих тщеславие и геройство; так, сразу по окончании Школы и нашей двойной свадьбы, благословленной пастором Вотье, мы намеревались все вчетвером отправиться в путешествие; затем мы приступали к каким-то титаническим свершениям, а жены наши охотно становились нам помощницами. Абель, которого не особенно влекла университетская карьера и который верил, что рожден писателем, созданием нескольких драматических шедевров быстро сколачивал себе состояние, которого ему так не хватало; я же, более увлеченный самими исследованиями, нежели выгодой, которую можно из них извлечь, собирался целиком отдаться изучению религиозной философии и написать ее историю... Да что проку вспоминать сейчас тогдашние наши надежды?

Со следующего дня мы окунулись в работу.

IV

До новогодних каникул оставалось так мало времени, что огонь моей веры, ярко восплававший после последней встречи с Алисой, мог гореть, ничуть не ослабевая. Как мною и было обещано, каждое воскресенье я писал ей длиннейшие письма, а в остальные дни, сторонясь товарищей и общаясь чуть ли не с одним Абелем, я жил только мыслью об Алисе; поля любовившихся мне книг были испещрены пометками в расчете на нее – так даже мой собственный интерес подчинялся возможному ее интересу. При всем этом ее письма поселяли во мне какую-то тревогу; хотя отвечала она довольно регулярно, я гораздо больше был склонен видеть в ее усердном внимании ко мне стремление подбодрить меня в моих занятиях, чем какой-то естественный душевный порыв; тогда как у меня все оценки, рассуждения, замечания служили лишь средством для наилучшего выражения моей мысли, у нее, как мне казалось, напротив, все это использовалось лишь для того, чтобы свою мысль от меня скрыть. Иногда я даже задавался вопросом, уж не играет ли она таким образом со мной... Как бы то ни было, твердо решив ни на что не жаловаться, я в своих письмах ничем не обнаруживал своей обеспокоенности.

Итак, в конце декабря мы с Абелем поехали в Гавр.

Остановился я у тети Плантье. Когда я приехал, ее не было дома, однако не успел я устроиться в моей комнате, как вошел кто-то из прислуги и передал, что тетя ждет меня в гостиной.

Наскоро осведомившись о том, как я себя чувствую, как устроился, как идет учеба, она без дальнейших предосторожностей дала волю своему участливому любопытству.

– Ты мне еще не рассказывал, мой мальчик, доволен ли ты остался пребыванием в Фонгезмаре? Удалось ли тебе продвинуться вперед в твоих делах?

Пришлось стерпеть неуклюжую тетину доброжелательность; но все же, как ни тягостно мне было столкнуться со столь упрощенным отношением к чувствам, о которых, как мне по-прежнему казалось, даже самые чистые и нежные слова способны были дать лишь весьма грубое представление, сказано это было настолько просто и сердечно, что обида выглядела бы глупо. Тем не менее поначалу я слегка воспротивился.

– Разве вы сами не говорили весной, что считаете нашу помолвку преждевременной?

– Да я помню, помню, вначале всегда так говорят, – закудахтала она, овладевая моей рукой и страстно сжимая ее в своих ладонях. – И к тому же из-за твоей учебы, а потом службы в армии вы сможете пожениться только через несколько лет, я все знаю. Я-то лично не очень одобряю такие помолвки, которые долго длятся; девушки просто устают ждать... Хотя иногда это бывает так трогательно... А объявлять о помолвке вовсе не обязательно... Но этим как бы дают понять – о, весьма осторожно! – что искать больше никого не надо. Да и вообще ваши отношения, вашу переписку никто не посмеет осудить; наконец, если вдруг объявится какой-то другой претендент – а такое вполне может случиться, – намекнула она с выразительной улыбкой, – это позволит деликатно ответить, что... нет, дескать, не стоит и пытаться. Ты знаешь, что к Жюльетте уже сватались? Этой зимой ее очень многие заметили. Ну, правда, она еще очень молоденькая – так она и ответила, – но молодой человек согласен подождать. Не такой уж он, по правде сказать, молодой, но... в общем, отличная партия. Человек солидный, надежный. Кстати, ты его завтра увидишь, он придет ко мне на елку. Расскажешь мне потом о твоих впечатлениях.

– Боюсь, тетя, рассчитывать ему не на что. Вроде бы у Жюльетты есть кто-то другой на примете, – сказал я, сделав невероятное усилие, чтобы тут же не назвать имя Абеля.

– Гм-гм? – вопросительно промычала тетя, несколько скривившись и склонив набок голову. – Ты меня удивил! Почему же она мне ни о чем не рассказала?

– Ладно, там видно будет... Ей что-то нездоровится последнее время, Жюльетте-то, – снова начала она. – Впрочем, мы не о ней сейчас... Э-э... Алиса тоже очень милая девушка... Так скажи, наконец, определенно, ты объяснился или нет?

Хоть я восставал всей душой против самого этого слова – «объяснился», – казавшегося мне совершенно неподходящим и даже грубым, я был застигнут врасплох ее вопросом и, не умея как следует врать, пролепетал:

– Да, – чувствуя, как запылало мое лицо.

– И что же она?

Я уставился в пол и хотел было промолчать, но словно помимо воли еще более невнятно буркнул:

– Она не захотела обручаться.

– Ну и правильно сделала! – воскликнула тетя. – Господи, у вас же еще все впереди...

– Ах, тетушка, не будем об этом, – вставил я в тщетной надежде остановить ее.

– Впрочем, меня это ничуть не удивляет. Она-то всегда мне казалась посерьезнее тебя, твоя кузина...

Не могу объяснить, что на меня нашло в тот миг; очевидно, тетин допрос так меня взвинтил, что сердце мое было готово буквально разорваться; как ребенок, зарылся я лицом в тетушкины колени и зарыдал.

– Тетушка, право же, ну как вы не поймете... Она вовсе и не просила меня подождать...

– О Боже! Неужели она тебе отказала? – произнесла она с необычайной нежностью и сочувствием, приподняв мое лицо.

– Да нет... в общем, не совсем.

Я грустно покачал головой.

– Ты боишься, что она тебя разлюбила?

– Нет-нет, дело вовсе не в этом.

– Бедный мой мальчик, если хочешь, чтобы я тебя поняла, расскажи, будь добр, чуточку подробнее, в чем все-таки дело.

Мне было больно и стыдно оттого, что я поддался минутной слабости, ведь тетя все равно была неспособна по-настоящему понять, чего я, собственно, опасался; однако если отказ Алисы был обусловлен какими-то скрытыми причинами, то тетя, осторожно расспросив ее, могла бы, вполне возможно, выведать их. Она и сама почти сразу же об этом заговорила.

– Вот послушай: Алиса должна прийти ко мне завтра помогать наряжать елку. Уж я-то быстро пойму, к чему тут все клонится, а за обедом все тебе расскажу, и ты сам увидишь, я уверена, что не о чем тебе тревожиться.

Обедать я пошел к Бюколенам. Жюльетта, которой в самом деле нездоровилось, заметно изменилась: в ее взгляде появилась какая-то настороженность, даже почти озлобленность, отчего она еще менее стала походить на сестру. Ни с одной из них в тот вечер я не смог поговорить наедине; признаться, я не очень к этому и стремился, и, поскольку дядя выглядел довольно усталым, я распрощался вскоре после того, как все вышли из-за стола.

На рождественскую елку к тетушке Плантье каждый год собиралось очень много детей, родни и друзей. Елку ставили в вестибюле у лестницы, куда выхолили одна из прихожих, гостиная и застекленные двери небольшого зимнего сада, где устраивался буфет. Елку еще не успели до конца нарядить, и уже в день праздника, утром, то есть на следующий день после моего приезда, Алиса, как тетя меня о том и уведомила, пришла довольно рано, чтобы помочь ей развесить на ветвях украшения, огоньки, засахаренные фрукты, сладости и игрушки. Мне самому очень хотелось поучаствовать вместе с ней в этих приятных хлопотах, но нужно было дать возможность тете поговорить с ней, поэтому я ушел, даже не повидав ее, и всю первую половину дня пытался отвлечься от беспокойных мыслей.

Сначала я пошел к Бюколенам, думая увидиться с Жюльеттой, но там узнал, что меня опередил Абель; не желая прерывать их важный разговор, я тут же вышел и до самого обеда бродил по набережным и улицам города.

– Голова ты садовая! – таким возгласом встретила меня тетя. – Это же надо так усложнять себе жизнь! Что за ерунду ты наговорил мне с утра пораньше!.. Но, слава Богу, я человек прямой: только мисс Эшбертон подустала, я ее спровадила, мы с Алисой остались вдвоем, и тут я ее без обиняков и спросила, почему, дескать, она отказалась этим летом обручиться с тобой. Думаешь, она растерялась? Не тут-то было! Она спокойненько мне ответила, что не хочет выходить замуж раньше сестры. Она и тебе ответила бы тоже самое, если бы ты ее спросил напрямик. Ну, скажи, стоило мучиться-то, а? Вот так-то, милый мой: прямота, она лучше всего... Алиса, бедняжка, и об отце своем мне говорила: не могу, мол, бросить его одного... О, да мы обо всем успели поболтать. До чего ж умненькая девочка! Я, говорит, не уверена, что подхожу ему; боясь, слишком у нас большая разница в возрасте, и ему, мол, лучше найти девушку вроде Жюльетты...

Тетушка продолжала, но я ее больше не слушал; только одно мне было важно: Алиса не согласна выходить замуж раньше сестры. А на что ж тогда Абель! Значит, все-таки прав он был, не бахвалился, когда говорил, что одним махом устроит обе наши женитьбы...

Как мог, скрывал я от тети то возбуждение, которое вызвало во мне это, в сущности простое, открытие, и всем своим видом выражал лишь радость, показавшуюся ей вполне естественной и вдобавок особенно приятной оттого, что именно она, как ей казалось, мне ее доставила; едва отобедав, я, не помню уж, под каким предлогом, отпросился и кинулся к Абелю.

– Ага! Что я говорил?! – бросился он обнимать меня, когда я поведал ему о своей радости. – Слушай, скажу тебе сразу, что наш утренний разговор с Жюльеттой был почти решающим, хотя речь шла почти исключительно о тебе. Но она выглядела какой-то усталой, слегка раздраженной... В общем, я боялся слишком взволновать ее и особенно далеко не заходил, да и долго оставаться у нее я не мог по той же причине. Теперь же, после того что ты мне рассказал, считай, дело сделано! Знаешь, я могу сейчас все, что хочешь, – прыгать, скакать, колесом ходить. Когда пойдем вместе к Бюколенам, держи меня крепче, не то я взлечу по дороге: я чувствую, что становлюсь легче Эвфориона... Когда Жюльетта узнает, что только из-за нее Алиса отказывается ответить тебе согласием; когда я немедленно сделаю предложение... Эх! Да ты послушай: я уже вижу, как преподобный отец сегодня же вечером перед рождественской елкой, вознося хвалы Господу со слезами на глазах, благословляет нас четверых, бросившихся к его ногам. Мисс Эшбертон испарится от охов и вздохов, тетушка Плантье растает в своем корсаже, а елка, сверкая огнями, воспоет славу Божию и вострепещет, как те горы у пророка Аввакума.

Елку собирались зажечь только к вечеру, когда соберутся дети, родственники и друзья. Выйдя от Абеля и не зная, чем заняться – настолько меня томило нетерпение, – я, чтобы убить время, пустился бродить по окрестностям возле скалы Сент-Адресс, заблудился, и вышло так, что, когда я вернулся к тете, праздник уже начался.

Едва войдя в вестибюль, я увидел Алису; она, похоже, ждала меня и сразу же подошла. В вырезе ее платья виднелся висевший на шее старинный аметистовый крестик, который я подарил ей в память о моей матери, но который она при мне еще не надевала. Ее осунувшееся лицо выражало такую боль, что мне стало не по себе.

– Почему ты опоздал? – быстро произнесла она, будто ей не хватало дыхания. – Я хотела поговорить с тобой.

– Я заблудился там, у скалы... Но что с тобой, тебе плохо?.. Алиса, ради Бога, что случилось?

Губы ее дрожали, и некоторое время она стояла молча, словно в каком-то ошеломлении; я не смел больше расспрашивать ее, потому что меня самого вдруг сдавило невероятной тоской. Она положила руку мне на шею, как будто хотела приблизить мое лицо. Я подумал, что она собирается что-то сказать, но в этот момент уже начали входить гости, и рука ее безвольно упала...

– Не получится, – прошептала она и, видя, что я чуть не плачу, и отвечая на немой вопрос, застывший в моих глазах, добавила, словно это смехотворное объяснение могло совершенно меня успокоить: – Нет-нет... не волнуйся, просто у меня болит голова: дети устроили такой ужасный шум... мне пришлось спрятаться здесь... Сейчас мне пора вернуться к ним.

Она быстро вышла. Вестибюль наполнился людьми. Я подумал, что разыщу ее в гостиной, и действительно заметил ее в противоположном конце комнаты посреди толпы детей, с которыми она затевала какие-то игры. Между ней и мною я заметил нескольких знакомых, мимо которых я, скорее всего, не мог проскочить, не рискуя быть задержанным, а раскланиваясь, вести светские беседы я был не в состоянии. Разве что проскользнуть вдоль стены... Стоило попытаться.

Когда я проходил мимо большой застекленной двери, ведущей в сад, то почувствовал, что кто-то схватил меня за руку. Это оказалась Жюльетта, притаившаяся в дверном проеме за шторой.

– Пойдем в зимний сад, – выпалила она. – Мне нужно с тобой поговорить. Иди с другой стороны, я к тебе подойду.

Затем, быстро приоткрыв дверь, она скрылась в саду.

Что же все-таки произошло? Мне захотелось срочно увидеться с Абедем. Что он такого сказал? Что сделал?.. Через вестибюль я прошел в оранжерею, где меня уже ждала Жюльетта.

Лицо ее пылало; нахмуренные брови придавали взгляду пронзительно-страдальческое выражение; глаза болезненно блестели; даже голос звучал сдавленно и резко. Она была точно вне себя от ярости; несмотря на мою тревогу, я с удивлением и даже некоторым смущением отметил про себя, как она красива. Мы были одни.

– Алиса говорила с тобой? – сразу же спросила она.

– Два слова, не больше: я ведь опоздал.

– Ты знаешь, что она хочет, чтобы я первая вышла замуж?

– Да.

Она пристально смотрела мне в глаза:

– А знаешь, за кого ей хочется, чтобы я вышла?

Я молчал.

– За тебя! – буквально выкрикнула она.

– Но это безумие!

– Вот именно! – Произнесено это было одновременно с отчаянием и торжеством. Она приняла какой-то вызывающий вид и вся даже откинулась назад...

– Теперь я знаю, что мне следует делать, – добавила она невнятно, затем распахнула дверь и, выйдя, со звоном захлопнула ее.

И в голове, и в душе у меня все смешалось. Кровь стучала в висках. Четко я помнил лишь одно: нужно разыскать Абеда; уж он-то, наверное, сможет объяснить мне странное поведение обеих сестер... Однако вернуться в гостиную я не осмелился, так как все непременно заметили бы, в каком я состоянии. Я вышел на воздух. В саду было холодно, и, побыв там некоторое время, я немного пришел в себя. Уже смеркалось, и город постепенно скрывался в морском тумане; деревья стояли голые; от земли и неба точно исходила какая-то безысходная тоска... Послышалось пение – очевидно, это был хор детей возле рождественской елки. Я вернулся в дом через вестибюль. Двери в гостиную и прихожую были распахнуты, и я заметил в гостиной

тетушку, которая, словно прячась за пианино, что-то говорила стоявшей рядом Жюльетте. Все гости толпились в прихожей, поближе к елке. Дети допели рождественскую песню, наступила тишина, и пастор Вотье, встав спиной к елке, начал читать нечто вроде проповеди: он никогда не упускал возможности «посеять семена добра», как он говорил. Мне стало душно, яркий свет резал глаза, и я повернулся, чтобы снова выйти, как вдруг возле дверей увидел Абея; видимо, он стоял так уже несколько минут и глядел на меня весьма враждебно. Когда наши взгляды встретились, он пожал плечами. Я подошел к нему.

– Ну и дурак же ты! – процедил он сквозь зубы и тут же добавил: – Ладно, пошли отсюда, я уже по горло сыт этим сладкоречием! – Едва мы вышли, как он снова обрушился на меня, поскольку я продолжал молча и недоуменно смотреть на него. – Дурак! Олух! Да она же тебя любит! Ты что, не мог мне раньше сказать?

Я стоял как оглушенный. Все это не укладывалось у меня в голове.

– Нет, но это же надо! Самому такого не заметить!

Он схватил меня за плечи и яростно тряс. Голос его дрожал и прорывался сквозь стиснутые зубы с каким-то свистом.

– Абель, умоляю, – наконец произнес я таким же дрожащим голосом, когда он изо всех сил потащил меня куда-то, – чем так сердиться, ты бы лучше рассказал мне, что произошло. Я ничего не понимаю.

Внезапно остановившись под фонарем, он впился в меня глазами, затем крепко прижал к себе, положил голову мне на плечо и глухо зарыдал:

– Прости, прости, брат! Я сам был так же глуп и слеп и ничего не видел, как и ты.

Слезы немного успокоили его; он поднял голову и начал говорить, снова зашагав куда-то:

– Что произошло... Да стоит ли к этому возвращаться? Утром, как ты знаешь, у нас с Жюльеттой был разговор. Она была просто необыкновенно красива и возбуждена; я-то думал, что из-за меня, а на самом деле потому, что мы говорили о тебе, вот и все.

– Так, значит, ты уже тогда догадался?..

– Нет, тогда еще не совсем, но сейчас это ясно даже по малейшим деталям...

– Ты уверен, что не ошибся?

– Ошибся?! Братец ты мой, да только слепой не увидит, что она любит тебя.

– А Алиса, значит...

– А Алиса приносит себя в жертву. Ей стала известна тайна сестры, и она собралась уступить место. Право, старина, это вовсе не так уж трудно понять!.. Я попытался было снова поговорить с Жюльеттой, но едва я начал, точнее, едва она начала догадываться, в чем дело, как тут же вскочила с дивана, на котором мы сидели рядом, и несколько раз повторила: «Я так и знала», хотя по голосу было понятно, что ничего она не знала...

– Ну право, сейчас не до шуток!

– Отчего же? Вся эта история мне кажется ужасно забавной... Так вот, потом она бросилась в комнату к сестре, и я с тревогой слушал доносившиеся оттуда отголоски бурной сцены. Я-то надеялся, что Жюльетта еще выйдет, но вместо нее появилась Алиса. Она уже была в шляпе, очень смутилась, увидев меня, на ходу поздоровалась и ушла... Вот и все.

– Значит, Жюльетту ты с тех пор не видел?

После некоторого колебания Абель ответил:

– Видел. Когда Алиса ушла, я толкнул дверь ее комнаты. Жюльетта стояла, словно в оцепенении, перед камином, опершись локтями о мраморную полку, положив подбородок на ладони и пристально смотрела на себя в зеркало. Я вошел, но она даже не обернулась, а только вдруг как притопнет да как крикнет: «Оставьте же меня наконец!» – причем так сердито, что я почел за лучшее удалиться. Вот и все.

– И что же теперь?

– А!.. Я с тобой поговорил, и мне уже лучше... Что теперь? Попробуй вылечить Жюльетту от этой любви, ибо или я совсем не знаю Алису, или до тех пор тебе ее не видать.

Мы еще довольно долго шли в полном молчании.

– Пойдем назад! – сказал он наконец. – Гости уже ушли. Боюсь, преподобный меня заждался.

Мы вернулись. Действительно, гостиная уже опустела; в прихожей, возле разоренной елки, на которой догорали последние свечки, остались только тетушка с двумя детьми, дядя Бюколен, мисс Эшбертон, пастор, обе мои кухни и еще какая-то личность, на вид довольно смешная; я видел, как он весь вечер беседовал с тетей, но тогда не признал в нем того самого жениха, о котором мне рассказывала Жюльетта. Крупный, плотный, загорелый, с большими залысинами, он был явно другого звания, другой среды, другой породы, да и сам он, похоже, чувствовал себя чужаком среди нас, отчего нервно крутил и мучил свою седеющую эспаньолку, выступавшую из-под пышных нависающих усов. Двери были по-прежнему распахнуты, а в вестибюле, куда мы вошли без лишнего шума, было темно, так что никто не заметил нашего присутствия. Внезапно меня пронзило страшное предчувствие.

– Стой! – прошипел Абель, хватая меня за руку.

Мы увидели, как незнакомец подошел к Жюльетте и взял ее за руку, которую та безвольно отдала ему, даже не взглянув на него. Сердце мое похолодело.

– Да что же это делается, Абель?! – пробормотал я, словно все еще не понимая или надеясь, что не до конца понимаю.

– Черт побери! Малышка поднимает ставку, – услышал я в ответ свистящий шепот. – Ей не хочется отстать от сестры. Держу пари, сейчас ей рукоплещут все ангелы на небесах!

Жюльетту уже обнимал и целовал дядя, ее обступили тетушка и мисс Эшбертон, подошел и пастор Вотье... Я рванулся вперед. Алиса, заметив меня, вся дрожа, бросилась мне навстречу.

– Жером, это совершенно невозможно. Она же не любит его! Она мне это сказала еще сегодня утром. Вмешайся, Жером! О Боже, что с нею будет?!

В отчаянной мольбе она повисла у меня на плече; я не пожалел бы жизни, чтобы облегчить хоть немного ее горе.

Вдруг возле елки кто-то вскрикнул, все сразу же засуетились... Мы подбежали и увидели, как тетушка подхватила упавшую без чувств Жюльетту. Все столпились вокруг, склонились над ней, и мне почти не было видно ее, только рассыпавшиеся волосы, которые, казалось, откидывали назад ее смертельно побледневшее лицо. По пробежавшим по ее телу судорогам можно было предположить, что это не был заурядный обморок.

– Что вы, что вы! – громко успокаивала тетушка перепуганного дядю Бюколена, которого уже утешал пастор Вотье, указывая пальцем на небо. – Нет-нет, ничего страшного! Она просто переволновалась, перенервничала. Господин Тессьер, помогите-ка мне, вы ведь такой сильный. Сейчас отнесем ее ко мне в комнату, на мою постель... ко мне на постель... – Она наклонилась и что-то шепнула на ухо своему старшему сыну, и я увидел, как тот тут же убежал, очевидно за доктором.

Тетушка и жених поддерживали Жюльетту под плечи и спину, руки ее бессильно висели. Алиса осторожно и нежно несла сестру за ноги. Абель держал ее голову, которая иначе откинулась бы совершенно назад, и я видел, как он, весь согнувшись, осыпал поцелуями и собирал ее распущенные волосы.

Я остановился в дверях тетиной комнаты. Жюльетту положили на постель; Алиса что-то сказала г-ну Тессьеру и Абелю, но я не услышал ни слова, затем она проводила их до двери и попросила, чтобы мы дали ее сестре отдохнуть; она собиралась остаться возле нее вместе с тетей Плантье...

Абель схватил меня за руку, увлекая прочь, в ночную темноту, и мы еще долго шагали так, подавленные, не зная куда, не зная зачем.

V

Я не искал иного смысла в жизни, кроме любви, цеплялся за нее изо всех сил, не ждал ничего, да и не хотел ничего ждать, кроме того, что приходило ко мне от моей возлюбленной.

На следующий день, когда я уже был почти готов идти к ней, тетя остановила меня и протянула только что полученное ею письмо:

...Ночь прошла очень беспокойно, Жюльетта металась и успокоилась только к утру, когда подействовали прописанные доктором лекарства. Заклинаю Жерома несколько дней не приходить сюда. Жюльетта может случайно услышать его шаги или голос, а ей сейчас нужен полный покой...

Боюсь, что до выздоровления Жюльетты мне придется задержаться здесь. Если я не смогу принять Жерома до его отъезда, передай ему, дорогая тетя, что я ему обязательно напишу...

Запрет касался меня одного. И тетя, и вообще кто угодно могли звонить и приходить к Бюколенам; а тетя уже намеревалась пойти туда сегодня же утром. Какой еще от меня особенный шум? Что за нелепый предлог?.. Впрочем, не важно!

– Что ж, ладно. Я не пойду.

Мне дорого стоило отказаться от встречи с Алисой; я желал этой встречи, но одновременно и боялся, – боялся предстать в ее глазах виноватым в том, что случилось с ее сестрой, а потому мне было все-таки легче не увидеться с ней вовсе, чем увидеть ее раздраженной.

В любом случае мне хотелось видеть Абея.

Открывшая дверь горничная протянула мне записку:

Пишу эту записку, чтобы ты не беспокоился. Оставаться долее в Гавре, совсем рядом с Жюльеттой, выше моих сил. Вчера вечером, вскоре же после того, как мы расстались, я сел на пароход в Саутхемптон. Поживу до конца каникул в Лондоне, у С... Увидимся в Школе.

...Так в один миг я лишился всякой людской поддержки. Дальнейшее пребывание в Гавре не сулило мне ничего, кроме новых страданий, и я вернулся в Париж задолго до начала занятий. Я обратился помыслами к Богу, к Тому, «от Кого исходит всякое истинное утешение, всякая благодать и всякое совершенство». Ему принес я свою боль, и молитва моя ободрялась, вдохновлялась мыслью о том, что и она ищет прибежища в Нем и молится.

Потекло время, в раздумьях и занятиях, без каких-либо иных событий, кроме писем Алисы и моих к ней. Я сохранил их все и именно на них опираюсь, восстанавливая в памяти последующие события...

Новости из Гавра доходили до меня через тетушку, поначалу даже исключительно через нее; так я узнал, какие серьезные опасения вызывало тяжелое состояние Жюльетты в первые дни. Лишь через двенадцать дней после моего отъезда я получил наконец первое письмо от Алисы:

Извини, пожалуйста, дорогой мой Жером, что я не написала тебе раньше: состояние нашей бедняжки Жюльетты не оставляло времени на письма. С тех пор, как ты уехал, я почти неотлучно была возле нее. Я попросила тетю держать тебя в курсе наших дел. Думаю, она выполнила мою просьбу, и ты, наверное, знаешь, что вот уже третий день Жюльетте лучше. Я благодарю Бога, но радоваться пока не смею.

Также и Робер, о котором я здесь почти не упоминал и который приехал в Париж спустя несколько дней после меня, смог немного рассказать мне о том, как поживают его сестры. Собственно, ради них я и уделял ему гораздо больше времени, нежели мне бы того хотелось, следуя склонностям своего характера; он поступил в сельскохозяйственную школу, и едва у него выдавался свободный день, как мне приходилось заниматься им и изобретать, чем бы его развлечь.

От него я узнал то, о чем не решался спросить ни у Алисы, ни у тети: оказывается, Эдуар Тессьер усердно заходил справляться о здоровье Жюльетты, однако до отъезда Робера из Гавра он еще не виделся с ней вновь. Узнал я также и то, что Жюльетта, с тех пор, как я уехал, в общении с сестрой хранила упорное молчание, которое ничто не способно было нарушить.

Несколько позднее через тетю мне стало известно кое-что и о злополучной помолвке Жюльетты: Алиса, я это чувствовал, надеялась, что помолвка немедленно расстроится, однако Жюльетта сама настояла, чтобы о ней объявили как можно раньше. Ее решимость, о которую разбивались все советы, увещевания и мольбы, сделала ее упрямой, слепой и немой – точно замурованной в молчание.

Шло время. От Алисы, которой я уже и не знал, о чем писать, приходили короткие, скудные письма, лишь усугублявшие мою тоску. Я словно погружался в густой зимний туман; увы, ни настольная лампа, ни весь пыл моей любви, ни моя вера были не в силах одолеть мрак и холод в моем сердце. А время шло.

И вот однажды, весенним утром, я неожиданно получил письмо Алисы, адресованное тетушке, которая в это время куда-то уехала из Гавра и переслала письмо мне; я выписываю из него то, что поможет лучше понять эту историю:

...Ты должна быть довольна моим послушанием: как я тебе и обещала, я приняла-таки г-на Тессьера и долго с ним говорила. Не скрою, держался он очень достойно, и я даже почти поверила, признаюсь честно, в то, что этот брак может оказаться не таким уж несчастливый, как я вначале опасалась. Разумеется, Жюльетта не любит его, но мне он кажется от раза к разу все менее недостойным любви. Судя по его словам, он отлично все понимает и ничуть не заблуждается относительно характера моей сестры, но он уверен, что его любовь к ней может многое изменить, и убеждает меня, что нет таких препятствий, которые смогли бы устоять перед его терпением и упорством. Ты уже поняла, что влюблен он без памяти.

Ты права, я была необычайно тронута, узнав, что Жером так много занимается с моим братом. Думаю, что он просто счел это своим долгом – ибо по характеру они с Робером совершенно непохожи, – а также, вероятно, хотел таким образом понравиться мне, но сам же он наверняка смог убедиться: чем больше усилий требует от нас исполнение долга, тем мудрее и возвышеннее становится наша душа. Подобные суждения кому-то могут показаться выпендюными, но, тетушка, право же, не смейся над своей великовозрастной племянницей, ибо эти мысли поддерживают меня и облегчают мои попытки толковать брак Жюльетты как благо.

Я так благодарна за твою нежную заботу обо мне, дорогая тетушка!.. Но не думай, пожалуйста, что я несчастлива; я бы могла даже сказать: наоборот – ибо потрясение, испытанное Жюльеттой, отозвалось и во мне. Для меня вдруг прояснились те слова из Писания, которые я раньше повторяла почти бездумно: «Проклят человек, который надеется на человека». Еще задолго до того, как я нашла это место в Библии, я прочла эти слова на рождественской открытке, которую прислал мне Жером, когда ему еще не было и двенадцати, а мне уже исполнилось четырнадцать. На той открытке, рядом с цветочным венком, который тогда нам очень нравился, было помещено четверостишие – парафраз, кажется, Корнеля:

*Обречены те, кто подмогу
В невзгодах ищут у людей.*

Признаться, та простая строка Иеремии мне бесконечно ближе. Жером, когда выбирал открытку, разумеется, не обратил особого внимания на эти слова, но сейчас, судя по письмам, его образ мыслей стал очень походить на мой, и я каждый день благодарю Бога за то, что Он одновременно приближает к себе нас обоих.

Памятуя о нашем с тобой разговоре, я больше не пишу ему таких длинных писем, как прежде, чтобы не отвлекать его от работы. Ты, наверно, уже подумала, что как бы в возмещение за это я бесконечно долго рассказываю о нем, поэтому, пока не поздно, заканчиваю письмо. Прошу тебя, не сердись.

Какую бурю переживаний вызвало во мне это письмо! Я проклинал неумелое тетушкино вмешательство (что же это был за разговор, о котором упомянула Алиса и после которого она почти перестала писать мне?), неуместную заботу, заставившую ее поставить меня обо всем этом в известность. Если мне и без того тяжело было переносить молчание Алисы, не лучше ли в тысячу раз было держать меня в неведении, что то, о чем она давно перестала говорить со мной, она спокойно пишет кому-то другому! Все раздражало меня: и то, что она так легко пересказывает тетушке наши самые заветные тайны, и естественный тон письма, и ее спокойствие, и серьезность, и готовность шутить...

– Нет-нет, дружище! Тебе прежде всего не дает покоя то, что письмо адресовано не тебе, – сказал Абель, непреременный мой спутник, Абель, с которым только и мог я поговорить и к которому в моем одиночестве меня неизменно снова и снова пригоняли моя слабость, потребность выплакаться, неверие в собственные силы и – в минуты растерянности – доверие, которое я питал к его советам, несмотря на явную разность наших натур или скорее благодаря ей...

– Изучим внимательно этот документ, – произнес он, разложив страницы письма на своем столе.

К тому времени я уже промучился три ночи, а четыре дня, соответственно, носил все в себе, стараясь не подать виду! Самостоятельно я уже почти пришел к тем же умозаключениям, которые выдал мне мой друг:

– Давай так: посмотрим, что с этой блестящей партией сделает огонь любви. Уж мы-то знаем, как действует его пламя. Черт меня побери, если Тессьер не есть тот самый мотылек, который спалит в нем свои крылышки...

– Оставим это, – смутился я от его шуточек. – Поговорим лучше про то, что идет дальше.

– А что дальше? – удивился он. – Дальше все только о тебе. Жалуйся, несчастный! Нет ни строчки, ни единого слова, которые не были бы наполнены мыслью о тебе. По сути дела, и письмо-то адресовано тебе; переслав его, тетя Фелиция лишь вернула его истинному получателю. Только из-за того, что ты далеко, Алиса и припадает к груди этой доброй тетеньки. Вот, к примеру, стихи Корнеля, которые замечу в скобках, принадлежат Расину, для нее, для тетушки-то, они ведь пустой звук. Да говорю же тебе, с тобой она всем этим делится, тебе все это рассказывает. Ты будешь последним болваном, если уже через две недели твоя кузина не напишет тебе такое же длинное, легкое и приятное письмо...

– Да она вовсе не собирается этого делать!

– Сейчас все в твоих руках! Хочешь совет? Еще в течение... ну, в общем, довольно долгое время даже не заикайся ни о любви, ни о женитьбе. Ведь после того, что случилось с ее сестрой, она именно за это на тебя и сердится, понимаешь? Упирай на братские чувства, без конца пиши о Робере, коли у тебя хватает терпения возиться с этим кретином. Короче, просто занимай ее чем-нибудь, и все, а остальное само собой выйдет. Эх, вот бы мне можно было ей написать!..

– Ты был бы недостойн чести ее любить.

Тем не менее я все-таки последовал совету Абея, и действительно письма Алисы постепенно начали становиться более живыми, хотя я не мог надеяться ни на подлинную радость с ее стороны, ни на решительное смягчение до тех пор, пока Жюльетта не обрела если уж не счастье, то по крайней мере определенное положение.

Алиса писала тем временем, что дела Жюльетты идут все лучше, в июле должна состояться свадьба и жаль, что мы с Абедем не сможем приехать из-за нашей учебы... То есть, как я понял, она сочла, что наше присутствие на церемонии вовсе не обязательно, поэтому мы, сославшись на очередной экзамен, ограничились тем, что послали поздравительные открытки.

Примерно недели через две после свадьбы Алиса прислала мне такое письмо:

Дорогой Жером,

суди сам о том, как я была поражена, открыв вчера наугад подаренный тобой прелестный томик Расина и обнаружив то самое четверостишие с твоей давнишней рождественской открытки, которую я вот уже скоро десять лет храню между страниц Библии.

*Порыв, меня влекущий к Богу,
Победней всех земных страстей.
Обречены те, кто подмогу
В невзгодах ищут у людей.*

Я считала, что это отрывок из какого-то корнелевского парафраза, и, по правде говоря, не находила в нем ничего особенного. Но, читая дальше «IV Духовное песнопение», я напала на такие прекрасные строфы, что не в силах удержаться, чтобы не переписать их сейчас для тебя. Не сомневаюсь, что они тебе известны, насколько я могу судить по инициалам, которые ты неосторожно оставил на полях. (В самом деле, у меня появилась привычка помечать в моих и ее книгах большой буквой «А» те пассажи, которые мне понравились или с которыми я хотел познакомить и ее.) Но не важно! Я сама получу удовольствие, переписывая их. Сначала я даже слегка обиделась, когда поняла, что моя находка на самом деле была твоим подарком, но это гадкое чувство уступило место радости от мысли, что ты полюбил эти строфы так же, как и я. Когда я переписываю их, мне кажется, что мы вместе их читаем.

*Глас горний истины превечной
Из поднебесья к нам воззвал:
«Зачем, о люди, так беспечно
Земных вы ищете похвал?
Изъян ли слабых душ виною,
Что крови ваших жил ценою
Вы покупаете подчас
Не хлеб, который насыщает,
Но тень его, что лишь прельщает,
А голод пуще гложет вас.
Хлебы, что свыше вам дарятся, —
Созданье Божией руки.
Они для ангелов творятся*

*Лишь из отборнейшей муки.
Вас этим хлебом возделанным
В столь вам любезном мире бrenном
Вовек никто не угостит,
А кто за мною устремится,
Тот сможет вволю угоститься
И будет жив, здоров и сыт».*

.....
*В твоём плену душа обряцет
Покой блаженный навсегда,
Испив воды животворящей,
Что не иссякнет никогда.
Не скрыт от мира сей родник,
Чтоб всяк хоть раз к нему приник.
Мы ж пьем из мутного пруда,
Довольствуясь безумцев долей,
Иль из неверных суходолий,
Где не задержится вода.*

Как это прекрасно, Жером, как прекрасно! Не правда ли, ты ощутил эту красоту так же, как и я? В моем издании дается маленькое примечание о том, что г-жа Ментенон, услышав эту песнь в исполнении м-ль д'Омаль, пришла в восхищение, «уронила несколько слезинок» и просила исполнить один из отрывков еще раз. Я выучила ее наизусть и без устали повторяю ее про себя. Жалею я лишь об одном: что не слышала, как ее читаешь ты.

От наших путешественников продолжают приходить приятные вести. Ты уже знаешь, как понравилось Жюльетте в Байонне и в Биаррице, несмотря даже на ужасную жару. С тех пор они побывали в Фонтараби, останавливались в Бургосе, дважды переходили Пиренеи... Только что я получила от нее восторженное письмо из Монсерра. Они рассчитывают побывать дней десять в Барселоне, а затем вернуться в Ним: Эдуар хочет успеть до конца сентября, чтобы все подготовить к сбору винограда.

Мы уже целую неделю с отцом в Фонгезмаре; завтра должна приехать мисс Эшбертон, а через четыре дня Робер. Бедный мальчик, как ты знаешь, не сдал экзамен, причем не потому, что он был трудный, а просто экзаменатор задавал такие причудливые вопросы, что он растерялся. Не могу поверить, что Робер не был готов, – после всего, что ты мне писал о его старании и усердии. Видимо, этому экзаменатору нравится таким образом приводить в смущение учеников.

Что же касается твоих успехов, дорогой друг, то мне даже как-то неловко поздравлять тебя – настолько они мне кажутся естественными. Я так верю в тебя, Жером! Едва я начинаю о тебе думать, как сердце мое наполняется надеждой. Сможешь ли ты уже сейчас приступить к той работе, о которой ты мне рассказывал?..

...У нас в саду ничего не изменилось, но дом как будто опустел! Ты ведь понял, не правда ли, почему я просила тебя не приезжать этим летом; я чувствую, что так будет лучше, и повторяю это каждый день, потому

что мне очень тяжело не видеть тебя так долго... Иногда я непроизвольно начинаю тебя искать: вдруг прерываю чтение и оборачиваюсь... Мне кажется, что ты рядом!

Продолжаю письмо. Сейчас ночь, все легли спать, а я засиделась перед открытым окном; в саду очень тепло и все благоухает. Помнишь, в детстве, когда мы видели или слышали что-то очень красивое, мы думали: «Спасибо, Боже, за то, что мы это создал...» Вот и сегодня в моей душе лишь одна мысль: «Спасибо, Боже, за то, что ты подарил такую прекрасную ночь!» И вдруг мне так захотелось, чтобы ты оказался здесь, рядом, совсем близко, захотелось изо всех сил – так, что даже ты, наверное, это почувствовал.

Как ты хорошо сказал в одном письме: «есть такие счастливые души», в которых восхищение неотделимо от признательности... Мне столько еще хотелось бы сказать тебе! Вот я пытаюсь представить ту солнечную страну, о которой пишет Жюльетта. Мне видятся и совсем иные края – там еще просторнее, еще большие солнца, еще пустынное. Меня не покидает какая-то странная уверенность, что однажды – не знаю, каким образом, – мы вместе увидим великую таинственную страну...

Вы, конечно, без труда можете себе представить, как я читал это письмо – с радостным замиранием сердца, со слезами любви. За ним последовали другие. Да, Алиса благодарила меня за то, что я не приехал в Фонгезмар; да, она умоляла меня не искать с ней встречи в этом году, но сейчас она жалела о том, что меня нет рядом с ней, она хотела видеть меня; этот призыв слышался с каждой страницы. Почему я не поддался ему? Что придавало мне силы? Советы Абея, разумеется; боязнь одним махом разрушить мое счастье плюс некое природное сдерживающее начало, боровшееся с влечением сердца.

Выписываю из этих писем то, что имеет отношение к моему рассказу:

Дорогой Жером,

я в восторге от твоих писем. Как раз собралась ответить на письмо из Орвьето, а тут пришли еще сразу два – из Перуджи и Ассизи. Теперь я тоже мысленно путешествую: телом я как будто бы здесь, но на самом деле я иду рядом с тобой по белым дорогам Умбриш; чуть свет я вместе с тобой отправляюсь в путь и словно впервые люблюсь утренней зарей... Ты звал меня, поднявшись на развалины Кортонь, правда? Я слышала твой голос... Мы стояли на вершине горы, над раскинувшимся внизу Ассизи, и нам страшно хотелось пить! Зато каким блаженством был для меня стакан воды, которым нас угостил монах-францисканец! Поверь, друг мой, я точно на все смотрю твоими глазами! Мне так понравилось то, что ты написал о святом Франциске! Да, именно: мысль должна стремиться к возвышенности, а вовсе не к полному освобождению, которому неизменно сопутствует мерзостная гордыня. Все порывы свои употребить не на бунт и возмущение, но на служение...

В Ниме, судя по письмам, все идет так хорошо, что, мне кажется, самому Богу угодно, чтобы я сейчас только и делала, что радовалась. Единственное, что омрачает это лето, – состояние моего несчастного отца; несмотря на все мои заботы, он по-прежнему о чем-то грустит, точнее, каждый раз возвращается к своей грусти, едва я оставляю его одного, и выводить его из этого состояния с каждым разом все труднее. Вся окружающая нас природа словно говорит с нами на языке счастья, но он

уже как будто перестает понимать этот язык и даже не делает никаких усилий, чтобы расслышать его... У мисс Эшбертон все в порядке. Я читаю им обоим твои письма; одного письма хватает для разговоров дня на три, а там приходит следующее...

...Позавчера уехал Робер; остаток каникул он проведет у своего друга Р..., отец которого служит управляющим на образцовой ферме. Конечно, в той жизни, какую мы здесь ведем, для него никаких особенных радостей нет, а потому, когда он заговорил об отъезде, я поддержала его...

...Столько еще хочется сказать тебе – говорила и говорила бы с тобой без конца! Иногда я никак не могу найти верных слов, да и мысли путаются: пишу наяву, словно во сне, и чувствую, почти до боли, лишь одно – как много, бесконечно много смогу еще отдать и получить.

Как случилось, что мы оба молчали столько долгих месяцев? Будем считать, что это была зимняя спячка. О, только бы она уже прошла навсегда, эта ужасная, страшная зима молчания! С тех пор, как ты вновь нашелся, и жизнь, и мысли, и порывы наших душ – все кажется мне прекрасным, восхитительным, неисчерпаемо богатым.

12 сентября

Получила твое письмо из Пизы. У нас здесь тоже погода стоит просто замечательная, никогда еще Нормандия не казалась мне такой прекрасной. Позавчера я прошла пешком огромное расстояние, просто так, гуляя; вернулась усталая, но в очень приподнятом настроении, буквально опьяненная солнцем и радостью. Как хороши были мельницы в лучах палящего солнца! Мне даже не нужно было воображать себя в Италии, чтобы почувствовать прелесть всего этого.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.